

*Светлой памяти родителей моих
Александры Самойловны
и Михаила Львовича Лотманов*

ВВЕДЕНИЕ: БЫТ И КУЛЬТУРА

Посвятив беседы русскому быту и культуре XVIII — начала XIX столетия, мы прежде всего должны определить значение понятий «быт», «культура», «русская культура XVIII — начала XIX столетия» и их отношения между собой. При этом оговоримся, что понятие «культура», принадлежащее к наиболее фундаментальным в цикле наук о человеке, само может стать предметом отдельной монографии и неоднократно им становилось. Было бы странно, если бы мы в предлагаемой книге задались целью решать спорные вопросы, связанные с этим понятием. Оно очень емкое: включает в себя и нравственность, и весь круг идей, и творчество человека, и многое другое. Для нас будет вполне достаточно ограничиться той стороной понятия «культура», которая необходима для освещения нашей, сравнительно узкой темы.

Культура, прежде всего, — *понятие коллективное*. Отдельный человек может быть носителем культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее по своей природе культура, как и язык, — явление общественное, то есть социальное*.

* В отдельных позициях, всегда являющихся исключением из правила, можно говорить о культуре одного человека. Но тогда следует уточнить, что мы имеем дело с коллективом, состоящим из одной личности. Уже то, что эта личность неизбежно будет пользоваться языком, выступая одновременно

Следовательно, культура есть нечто общее для какого-либо коллектива — группы людей, живущих одновременно и связанных определенной социальной организацией. Из этого вытекает, что культура есть *форма общения* между людьми и возможна лишь в такой группе, в которой люди общаются. (Организационная структура, объединяющая людей, живущих в одно время, называется *синхронной*, и мы в дальнейшем будем пользоваться этим понятием при определении ряда сторон интересующего нас явления.)

Всякая структура, обслуживающая сферу социального общения, есть язык. Это означает, что она образует определенную систему знаков, употребляемых в соответствии с известными членам данного коллектива правилами. Знаками же мы называем любое материальное выражение (слова, рисунки, вещи и т. д.), которое *имеет значение* и, таким образом, может служить средством *передачи смысла*.

Следовательно, культура имеет, во-первых, коммуникационную и, во-вторых, символическую природу. Остановимся на этой последней. Подумаем о таком простом и привычном, как хлеб. Хлеб веществен и зрим. Он имеет вес, форму, его можно разрезать, съесть. Съеденный хлеб вступает в физиологический контакт с человеком. В этой его функции про него нельзя спросить: что он означает? Он имеет употре-

как говорящий и слушающий, ставит ее в позицию коллектива. Так, например, романтики часто говорили о предельной индивидуальности своей культуры, о том, что в создаваемых ими текстах сам автор является, в идеале, единственным своим слушателем (читателем). Однако и в этой ситуации роли говорящего и слушающего, связывающий их язык не уничтожаются, а как бы переносятся внутрь отдельной личности: «В уме своем я создал мир иной //И образов иных существованье» (*Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т. М.; Л., 1954, т. 1, с. 34*).

Цитаты приводятся по изданиям, имеющимся в библиотеке автора, с сохранением орфографии и пунктуации источника.

бление, а не значение. Но когда мы произносим: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — слово «хлеб» означает не просто хлеб как вещь, а имеет более широкое значение: «пища, необходимая для жизни». А когда в Евангелии от Иоанна читаем слова Христа: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать» (Иоанн, 6:35), то перед нами — сложное символическое значение и самого предмета, и обозначающего его слова.

Меч также не более чем предмет. Как вещь он может быть выкован или сломан, его можно поместить в витрину музея, и им можно убить человека. Это все — употребление его как предмета, но когда, будучи прикреплен к поясу или поддерживаемый перевязью помещен на бедре, меч символизирует свободного человека и является «знаком свободы», он уже предстает как символ и принадлежит культуре.

В XVIII веке русский и европейский дворянин не носит меча — на боку его висит шпага (иногда крошечная, почти игрушечная парадная шпага, которая оружием практически не является). В этом случае шпага — символ символа: она означает меч, а меч означает принадлежность к привилегированному сословию.

Принадлежность к дворянству означает и обязательность определенных правил поведения, принципов чести, даже покроя одежды. Мы знаем случаи, когда «ношение неприличной дворянину одежды» (то есть крестьянского платья) или также «неприличной дворянину» бороды делались предметом тревоги политической полиции и самого императора.

Шпага как оружие, шпага как часть одежды, шпага как символ, знак дворянства — всё это различные функции предмета в общем контексте культуры.

В разных своих воплощениях символ может одновременно быть оружием, пригодным для прямого

практического употребления, или полностью отделяться от непосредственной функции. Так, например, маленькая специально предназначенная для парадов шпага исключала практическое применение, фактически являясь изображением оружия, а не оружием. Сфера парада отделялась от сферы боя эмоциями, языком жеста и функциями. Вспомним слова Чацкого: «Пойду на смерть как на парад». Вместе с тем в «Войне и мире» Толстого мы встречаем в описании боя офицера, ведущего своих солдат в сражение с парадной (то есть бесполезной) шпагой в руках. Сама биполярная ситуация «бой — игра в бой» создавала сложные отношения между оружием как символом и оружием как реальностью. Так шпага (меч) оказывается вплетенной в систему символического языка эпохи и становится фактом ее культуры.

А вот еще один пример, в Библии (Книга Судей, 7:13–14) читаем: «Гедеон пришел [и слышит]. И вот, один рассказывает другому сон, и говорит: снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: это не иное что, как меч Гедеона...» Здесь хлеб означает меч, а меч — победу. И поскольку победа была одержана с криком «Меч Господа и Гедеона!», без единого удара (мадиамитяне сами побили друг друга: «обратил Господь меч одного на другого во всем стане»), то меч здесь — знак силы Господа, а не военной победы.

Итак, область культуры — всегда область символизма.

Приведем еще один пример: в наиболее ранних вариантах древнерусского законодательства («Русская правда») характер возмещения («виры»), которое нападающий должен был заплатить пострадавшему, пропорционален материальному ущербу (характеру

и размеру раны), им понесенному. Однако в дальнейшем юридические нормы развиваются, казалось бы, в неожиданном направлении: рана, даже тяжелая, если она нанесена острой частью меча, влечет за собой меньшую виру, чем не столь опасные удары необнаженным оружием или рукояткой меча, чашей на пиру, или «тылесной» (тыльной) стороной кулака.

Как объяснить этот, с нашей точки зрения, парадокс? Происходит формирование морали воинского сословия, и вырабатывается понятие чести. Рана, нанесенная острой (боевой) частью холодного оружия, болезненна, но не бесчестит. Более того, она даже почетна, поскольку бьются только с равным. Не случайно в быту западноевропейского рыцарства посвящение, то есть превращение «низшего» в «высшего», требовало реального, а впоследствии знакового удара мечом. Тот, кто признавался достойным раны (позже — знакового удара), одновременно признавался и социально равным. Удар же необнаженным мечом, рукояткой, палкой — вообще *не оружием* — бесчестит, поскольку так бьют раба.

Характерно тонкое различие, которое делается между «честным» ударом кулаком и «бесчестным» — тыльной стороной кисти или кулака. Здесь наблюдается обратная зависимость между реальным ущербом и степенью знаковости. Сравним замену в рыцарском (потом и в дуэльном) быту реальной пощечины символическим жестом бросания перчатки, а также вообще приравнивание при вызове на дуэль оскорбительного жеста оскорблению действием.

Таким образом, текст поздних редакций «Русской правды» отразил изменения, смысл которых можно определить так: защита (в первую очередь) от материального, телесного ущерба сменяется защитой от оскорбления. Материальный ущерб, как и материальный недостаток, как вообще вещи в их практической

ценности и функции, принадлежит области практической жизни, а оскорбление, честь, защита от унижения, чувство собственного достоинства, вежливость (уважение чужого достоинства) принадлежат сфере культуры.

Секс относится к физиологической стороне практической жизни; все переживания любви, связанная с ними выработанная веками символика, условные ритуалы — все то, что А. П. Чехов называл «облагораживанием полового чувства», принадлежит культуре. Поэтому так называемая «сексуальная революция», подкупающая устранением «предрассудков» и, казалось бы, «ненужных» сложностей на пути одного из важнейших влечений человека, на самом деле явилась одним из мощных таранов, которыми антикультура XX столетия ударила по вековому зданию культуры.

Мы употребили выражение «вековое здание культуры». Оно не случайно. Мы говорили о синхронной организации культуры. Но сразу же надо подчеркнуть, что культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта. Более того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как «негенетическую» память коллектива. Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И потому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру — культуру человечества.

Поэтому же культура всегда, с одной стороны, — определенное количество унаследованных текстов, а с другой — унаследованных символов.

Символы культуры редко возникают в ее синхронном срезе. Как правило, они приходят из глубины веков и, видоизменяя свое значение (но не теряя при этом памяти и о своих предшествующих смыслах), передаются будущим состояниям культуры. Такие простейшие символы, как круг, крест, треугольник, волнистая линия, более сложные: рука, глаз, дом — и еще более сложные (например, обряды) сопровождают человечество на всем протяжении его многотысячелетней культуры.

Следовательно, культура исторична по своей природе. Само ее настоящее всегда существует в отношении к прошлому (реальному или сконструированному в порядке некоей мифологии) и к прогнозам будущего. Эти исторические связи культуры называются *диахронными*. Как видим, культура вечна и всемирна, но при этом всегда подвижна и изменчива. В этом сложность понимания прошлого (ведь оно ушло, отдалилось от нас). Но в этом и необходимость понимания ушедшей культуры: в ней всегда есть потребное нам сейчас, сегодня.

Мы изучаем литературу, читаем книжки, интересуемся судьбой героев. Нас волнуют Наташа Ростова и Андрей Болконский, герои Золя, Флобера, Бальзака. Мы с удовольствием берем в руки роман, написанный сто, двести, триста лет назад, и мы видим, что герои его нам близки: они любят, ненавидят, совершают хорошие и плохие поступки, знают честь и бесчестье, они верны в дружбе или предатели — и все это нам ясно.

Но вместе с тем многое в поступках героев нам или совсем непонятно, или — что хуже — понято неправильно, не до конца. Мы знаем, из-за чего Онегин с Ленским поссорились. Но *как* они поссорились, почему вышли на дуэль, почему Онегин убил Ленского (а сам Пушкин позже подставил свою грудь под писто-

лет)? Мы много раз будем встречать рассуждение: лучше бы он этого не делал, как-нибудь обошлось бы. Они не точны, ведь чтобы понимать *смысл* поведения живых людей и литературных героев прошлого, необходимо знать их культуру: их простую, обычную жизнь, их привычки, представления о мире и т. д. и т. п.

Вечное всегда носит одежду времени, и одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем сегодняшнего, нашего, то есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем самих себя. Вот когда-то, в тридцатые годы прошлого века, Гоголь возмутился: все романы о любви, на всех театральных сценах — любовь, а *какая* любовь в его, гоголевское время — такая ли, какой ее изображают? Не сильнее ли действуют выгодная женитьба, «электричество чина», денежный капитал? Оказывается, любовь гоголевской эпохи — это и вечная человеческая любовь, и вместе с тем любовь Чичикова (вспомним, как он на губернаторскую дочку взглянул!), любовь Хлестакова, который цитирует Карамзина и признается в любви сразу и городничихе, и ее дочке (ведь у него — «легкость в мыслях необыкновенная!»).

Человек меняется, и, чтобы представить себе логику поступков литературного героя или людей прошлого — а ведь мы равняемся на них, и они как-то поддерживают нашу связь с прошлым, — надо представлять себе, как они жили, какой мир их окружал, каковы были их общие представления и представления нравственные, их служебные обязанности, обычаи, одежда, почему они поступали так, а не иначе. Это и будет темой предлагаемых бесед.

Определив, таким образом, интересующие нас аспекты культуры, мы вправе, однако, задать вопрос: не содержится ли в самом выражении «культура и быт» противоречие, не лежат ли эти явления в различных плоскостях? В самом деле, что такое быт? Быт — это

обычное протекание жизни в ее реально-практических формах; быт — это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и, как воздух, он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим — мы склонны его считать «просто жизнью», естественной нормой практического бытия. Итак, быт всегда находится в сфере практики, это мир вещей прежде всего. Как же он может соприкасаться с миром символов и знаков, составляющих пространство культуры?

Обращаясь к истории быта, мы легко различаем в ней глубинные формы, связь которых с идеями, с интеллектуальным, нравственным, духовным развитием эпохи самоочевидна. Так, представления о дворянской чести или же придворный этикет, хотя и принадлежат истории быта, но неотделимы и от истории идей. Но как быть с такими, казалось бы, внешними чертами времени, как моды, обычаи каждодневной жизни, детали практического поведения и предметы, в которых оно воплощается? Так ли уж нам важно знать, как выглядели «*Лепаша* стволы роковые», из которых Онегин убил Ленского, или — шире — представлять себе предметный мир Онегина?

Однако выделенные выше два типа бытовых деталей и явлений теснейшим образом связаны. Мир идей неотделим от мира людей, а идеи — от повседневной реальности. Александр Блок писал:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным...¹

«Пылинки дальних стран» истории отражаются в сохранившихся для нас текстах — в том числе и в «текстах на языке быта». Узнавая их и проника-

ясь ими, мы постигаем живое прошлое. Отсюда — метод предлагаемых читателю «Бесед о русской культуре» — видеть историю в зеркале быта, а мелкие, кажущиеся порой разрозненными бытовые детали освещать светом больших исторических событий.

Какими же путями происходит взаимопроникновение быта и культуры? Для предметов или обычаев «идеологизированного быта» это самоочевидно: язык придворного этикета, например, невозможен без реальных вещей, жестов и т. д., в которых он воплощен и которые принадлежат быту. Но как связываются с культурой, с идеями эпохи те бесконечные предметы повседневного быта, о которых говорилось выше?

Сомнения наши рассеются, если мы вспомним, что *все* окружающие нас вещи включены не только в практику вообще, но и в общественную практику, становятся как бы сгустками отношений между людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер.

В «Скупом рыцаре» Пушкина Альбер ждет момента, когда в его руки перейдут сокровища отца, чтобы дать им «истинное», то есть практическое употребление. Но сам барон довольствуется символическим обладанием, потому что и золото для него — не желтые кружочки, за которые можно приобрести те или иные вещи, а символ полновластия. Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского изобретает особую походку, чтобы не были видны его дырявые подошвы. Дырявая подошва — реальный предмет; как вещь она может причинить хозяину сапог неприятности: промоченные ноги, простуду. Но для постороннего наблюдателя порванная подметка — это *знак*, содержанием которого является Бедность, а Бедность — один из определяющих символов петербургской культуры. И герой Достоевского принимает «взгляд культуры»: он страдает не оттого, что ему холодно, а оттого, что

ему стыдно. Стыд же — один из наиболее мощных психологических рычагов культуры. Итак, быт, в символическом его ключе, есть часть культуры.

Но у этого вопроса имеется еще одна сторона. Вещь не существует отдельно, как нечто изолированное в контексте своего времени. Вещи связаны между собой. В одних случаях мы имеем в виду функциональную связь и тогда говорим о «единстве стиля». Единство стиля есть принадлежность, например мебели, к единому художественному и культурному пласту, «общность языка», позволяющая вещам «говорить между собой». Когда вы входите в нелепо обставленную комнату, куда натаскали вещи самых различных стилей, у вас возникает ощущение, словно вы попали на рынок, где все кричат и никто не слушает другого. Но может быть и другая связь. Например, вы говорите: «Это вещи моей бабушки». Тем самым вы устанавливаете некую интимную связь между предметами, обусловленную памятью о дорогом вам человеке, о его давно уже ушедшем времени, о своем детстве. Не случайно существует обычай дарить вещи «на память» — вещи имеют память. Это как бы слова и записки, которые прошлое передает будущему.

С другой стороны, вещи властно диктуют жесты, стиль поведения и в конечном итоге психологическую установку своим обладателям. Так, например, с тех пор, как женщины стали носить брюки, у них изменилась походка, стала более спортивной, более «мужской». Одновременно произошло вторжение типично «мужского» жеста в женское поведение (например, привычка высоко закидывать при сидении ногу на ногу — жест не только мужской, но и «американский», в Европе он традиционно считался признаком неприличной развязности). Внимательный наблюдатель может заметить, что прежде резко различавшиеся мужская и женская манеры смеяться в настоящее

время утратили различие, и именно потому, что женщины в массе усвоили мужскую манеру смеха.

Вещи навязывают нам манеру поведения, поскольку создают вокруг себя определенный культурный контекст. Ведь надо уметь держать в руках топор, лопату, дуэльный пистолет, современный автомат, веер или баранку автомашины. В прежние времена говорили: «Он умеет (или не умеет) носить фрак». Мало сшить себе фрак у лучшего портного — для этого достаточно иметь деньги. Надо еще уметь его носить, а это, как рассуждал герой романа Бульвера-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена», — целое искусство, дающееся лишь истинному денди. Тот, кто держал в руке и современное оружие, и старый дуэльный пистолет, не может не поразиться тому, как хорошо, как ладно последний ложится в руку. Тяжесть его не ощущается — он становится как бы продолжением тела. Дело в том, что предметы старинного быта производились вручную, форма их отработывалась десятилетиями, а иногда и веками, секреты производства передавались от мастера к мастеру. Это не только вырабатывало наиболее удобную форму, но и неизбежно превращало вещь в *историю вещи*, в память о связанных с нею жестах. Вещь, с одной стороны, придавала телу человека новые возможности, а с другой — включала человека в традицию, то есть и развивала, и ограничивала его индивидуальность.

Однако быт — это не только жизнь вещей, это и обычаи, весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет распорядок дня, время различных занятий, характер труда и досуга, формы отдыха, игры, любовный ритуал и ритуал похорон. Связь этой стороны быта с культурой не требует пояснений. Ведь именно в ней раскрываются те черты, по которым мы обычно узнаем своего и чужого, человека той или иной эпохи, англичанина или испанца.

Обычай имеет еще одну функцию. Далеко не все законы поведения фиксируются письменно. Письменность господствует в юридической, религиозной, этической сферах. Однако в жизни человека есть обширная область обычаев и приличий. «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу»². Эти нормы принадлежат культуре, они закрепляются в формах бытового поведения, всего того, о чем говорится: «так принято, так прилично». Эти нормы передаются через быт и тесно соприкасаются со сферой народной поэзии. Они вливаются в память культуры.

Теперь нам осталось определить, почему мы избрали для нашего разговора именно эпоху XVIII — начала XIX века.

История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее. Мы сейчас переживаем время увлечения историей. Это не случайно: время революций антиисторично по своей природе, время реформ всегда обращает людей к размышлениям о дорогах истории. Жан-Жак Руссо в трактате «Об общественном договоре» в предгрозовой атмосфере надвигающейся революции, приближение которой он зарегистрировал, как чуткий барометр, писал, что изучение истории полезно только тиранам. Вместо того, чтобы изучать, как было, надо познать, как должно быть. Теоретические утопии в такие эпохи привлекают больше, чем исторические документы.

Когда общество проходит через эту критическую точку, и дальнейшее развитие начинает рисоваться не как создание нового мира на развалинах старого, а в виде органического и непрерывного развития, история снова вступает в свои права. Но здесь происходит характерное смещение: интерес к истории пробудился, а навыки исторического исследования порой утеряны,

документы забыты, старые исторические концепции не удовлетворяют, а новых нет. И тут лукавую помощь предлагают привычные приемы: выдумываются утопии, создаются условные конструкции, но уже не будущего, а прошлого. Рождаются квазиисторическая литература, которая особенно притягательна для массового сознания, потому что замещает трудную и непонятную, не поддающуюся единому истолкованию реальность легко усваиваемыми мифами.

Правда, у истории много граней, и даты крупных исторических событий, биографии «исторических лиц» мы еще обычно помним. Но как жили «исторические лица»? А ведь именно в этом безымянном пространстве чаще всего разворачивается настоящая история. Очень хорошо, что у нас есть серия «Жизнь замечательных людей». Но разве не интересно было бы прочесть и «Жизнь незамечательных людей»? Лев Толстой в «Войне и мире» противопоставил подлинно историческую жизнь семьи Ростовых, исторический смысл духовных исканий Пьера Безухова псевдоисторической, по его мнению, жизни Наполеона и других «государственных деятелей». В повести «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» Толстой писал: *«„Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним.“*<...>

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях <...> Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации»³.

Толстой был глубочайше прав: без знания простой жизни, ее, казалось бы, «мелочей» нет *понимания* истории. Именно понимания, ибо в истории знать какие-либо факты и понимать их — вещи совершенно разные. События совершаются людьми. А люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи. Если не знать этих мотивов, то действия людей часто будут казаться необъяснимыми или бессмысленными.

Сфера поведения — очень важная часть национальной культуры, и трудность ее изучения связана с тем, что здесь сталкиваются устойчивые черты, которые могут не меняться столетиями, и формы, изменяющиеся с чрезвычайной скоростью. Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи: «Он такой же, как ты. Поставь себя на его место» — и: «Не забывай, что он совсем другой, он — не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него».

Но почему же все-таки мы выбрали именно эту эпоху — XVIII — начало XIX века? Для этого есть серьезные основания. С одной стороны, это время достаточно для нас близкое (что значат для истории 200–300 лет?) и тесно связанное с нашей сегодняшней жизнью. Это время, когда оформлялись черты новой русской культуры, культуры нового времени, которому — нравится это нам или нет — принадлежим и мы. С другой стороны, это время достаточно далекое, уже во многом позабытое.

Предметы различаются не только функциями, не только тем, с какой целью мы их берем в руки, но и тем, какие чувства они у нас вызывают. С одним чувством мы прикасаемся к старинной летописи, «пыль веков от хартий отряхнув», с другим — к газете, еще пахнущей свежей типографской краской.

Свою поэзию имеют старина и вечность, свою — новость, доносящая до нас торопливый бег времени. Но между этими полюсами находятся документы, вызывающие особое отношение: интимное и историческое одновременно. Таковы, например, семейные альбомы. С их страниц на нас смотрят знакомые незнакомцы — забытые лица («А кто это?» — «Не знаю, бабушка всех помнила»), старомодные костюмы, люди в торжественных, сейчас уже смешных позах, надписи, напоминающие о событиях, которых сейчас уже все равно никто не помнит. И тем не менее это не *чужой* альбом. И если взглядеться в лица и мысленно изменить прически и одежду, то сразу же обнаружатся родственные черты. XVIII — начало XIX века — это семейный альбом нашей сегодняшней культуры, ее «домашний архив», ее «близкое-далекое». Но отсюда и особое отношение: предками восхищаются — родителей осуждают; незнание предков компенсируют воображением и романтическим мнимопониманием, родителей и дедов слишком хорошо помнят, чтобы понимать. Все хорошее в себе приписывают предкам, все плохое — родителям. В этом историческом невежестве или полужнании, которое, к сожалению, удел большинства наших современников, идеализация допетровской Руси столь же распространена, как и отрицание послепетровского пути развития. Дело, конечно, не сводится к перестановке этих оценок. Но следует отказаться от школярской привычки оценивать историю по пятибалльной системе.

История не меню, где можно выбирать блюда по вкусу. Здесь требуется знание и понимание. Не только для того, чтобы восстановить непрерывность культуры, но и для того, чтобы проникнуть в тексты Пушкина или Толстого, да и более близких нашему времени авторов. Так, например, один из замечательных «Колымских рассказов» Варлама Шаламова начинается

словами: «Играли в карты у коногона Наумова». Эта фраза сразу же обращает читателя к параллели — «Пиковой даме» с ее началом: «... играли в карты у конногвардейца Нарумова». Но помимо литературной параллели, подлинный смысл этой фразе придает страшный контраст быта. Читатель должен оценить степень разрыва между конногвардейцем — офицером одного из самых привилегированных гвардейских полков — и коногоном — принадлежащим привилегированной лагерной аристократии, куда закрыт доступ «врагам народа» и которая рекрутируется из уголовников. Значима и разница, которая может ускользнуть от неосведомленного читателя, между типично дворянской фамилией Нарумов и просто-народной — Наумов. Но самое важное — страшная разница самого характера карточной игры. Игра — одна из основных форм быта и именно из таких форм, в которых с особенной резкостью отражается эпоха и ее дух.

В завершение этой вводной главы я считаю своим долгом предупредить читателей, что реальное содержание всего последующего разговора будет несколько уже, чем обещает название «Беседы о русской культуре». Дело в том, что всякая культура многослойна, и в интересующую нас эпоху русская культура существовала не только как целое. Была культура русского крестьянства, тоже не единая внутри себя: культура олонецкого крестьянина и донского казака, крестьянина православного и крестьянина-старообрядца; был резко обособленный быт и своеобразная культура русского духовенства (опять-таки с глубокими отличиями быта белого и черного духовенства, иерархов и низовых сельских священников). И купец, и городской житель (мещанин) имели свой уклад жизни, свой круг чтения, свои жизненные обряды, формы досуга, одежду. Весь этот богатый и разнообразный

материал не войдет в поле нашего зрения. Нас будут интересовать культура и быт *русского дворянства*. Такому выбору есть объяснение. Изучение народной культуры и быта по установившемуся делению наук обычно относится к этнографии, и в этом направлении сделано не так уж мало. Что же касается повседневной жизни той среды, в которой жили Пушкин и декабристы, то она долго оставалась в науке «ничьей землей». Здесь сказывался прочно сложившийся предрассудок очернительского отношения ко всему, к чему приложим эпитет «дворянский». В массовом сознании долгое время сразу же возникал образ «эксплуататора», вспоминались рассказы о Салтычихе и то многое, что по этому поводу говорилось. Но при этом забывалось, что та великая русская культура, которая стала национальной культурой и дала Фонвизина и Державина, Радищева и Новикова, Пушкина и декабристов, Лермонтова и Чаадаева и которая составила базу для Гоголя, Герцена, славянофилов, Толстого и Тютчева, была *дворянской культурой*. Из истории нельзя вычеркивать ничего. Слишком дорого приходится за это расплачиваться.

Предлагаемая вниманию читателей книга была написана в трудных для автора условиях. Она не смогла бы увидеть свет, если бы не щедрая и бескорыстная помощь его друзей и учеников.

На всем протяжении работы неоценимую помощь на грани соавторства оказывала З. Г. Минц, которой не суждено было дожить до выхода этой книги. Большую помощь при оформлении книги, зачастую вопреки собственным занятиям, оказали автору доцент Л. Н. Киселева, а также другие сотрудники лабораторий семиотики и истории русской литературы Тартуского университета: С. Барсуков, В. Гехтман, М. Гришакова, Л. Зайонц, Т. Кузовкина, Е. Погосян

и студенты Е. Жуков, Г. Талвет и А. Шибарова. Всем им автор выражает живейшую признательность.

В заключение автор считает своей приятной обязанностью выразить глубокую признательность Гумбольдтовскому обществу и его члену — профессору В. Штемпелю, а также своим друзьям — Э. Штемпель, Г. Суперфину и врачам больницы Bogenhausen (München).

Тарту — München — Тарту. 1989–1990

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЛЮДИ И ЧИНЫ

Изучаемая нами эпоха — век перелома. Это хорошо видно и в истории дворянства. Русское дворянство, каким мы его встречаем в XVIII — первой половине XIX века, было порождением петровской реформы. Среди разнообразных последствий реформ Петра I создание дворянства в функции государственного и культурно доминирующего сословия занимает не последнее место. Материалом, из которого это сословие составилось, было допетровское дворянство Московской Руси.

Дворянство Московской Руси представляло собой «служилый класс», то есть состояло из профессиональных слуг государства, главным образом военных. Их ратный труд оплачивался тем, что за службу их «помещали» на землю, иначе — «верстали» деревнями и крестьянами. Но ни то ни другое не было их личной и наследственной собственностью. Переставая служить, дворянин должен был вернуть пожалованные ему земли в казну. Если он «уходил за ранами или увечьем», в службу должен был пойти его сын или муж дочери; если он оказывался убит, вдова через определенный срок должна была выйти замуж за человека, способного «тянуть службу», или поставить сына. *Земля* должна была служить. Правда, за особые заслуги ее могли пожаловать в наследственное владение, и тогда «воинник» становился «вотчинником».

Между «воинником» и «вотчинником» существовало глубокое не только социальное, но и психоло-

гическое различие. Для вотчинника война, боевая служба государству была чрезвычайным и далеко не желательным происшествием, для воинника — повседневной службой. Вотчинник-боярин служил великому князю и мог погибнуть на этой службе, но великий князь не был для него богом. Привязанность к земле, к Руси была для него еще окрашена местным патриотизмом, памятью о службе, которую нес его род, и о чести, которой он пользовался. Патриотизм воинника-дворянина был тесно связан с личной преданностью государю и имел государственный характер. В глазах же боярина дворянин был наемником, человеком без рода и племени и опасным соперником у государева престола. Боярин в глазах дворянина — ленивец, уклоняющийся от государевой службы, лукавый слуга, всегда втайне готовый к крамоле. Этот взгляд начиная с XVI века разделяют московские великие князья и цари. Но особенно интересно, что, судя по данным фольклора, он близок и крестьянской массе.

Петровская реформа, при всех издержках, которые накладывали на нее характер эпохи и личность царя, решила национальные задачи, создав государственность, обеспечившую России двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав и создав одну из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации. И если нынешние критики Петра порой утверждают, что судьбы России сложились бы более счастливо без этой государственности, то вряд ли найдется человек, который хотел бы представить себе русскую историю без Пушкина и Достоевского, Толстого и Тютчева, без Московского университета и Царскосельского лицея.

Еще в XVII веке началось стирание различий между поместьем и вотчиной, а указ царя Федора Алексеевича (1682), возвестивший уничтожение

местничества, показал, что господствующей силой в вызревавшем государственном порядке будет дворянство. Вряд ли стоит повторять общеизвестные истины о социальном эгоизме этого нового господствующего сословия и предаваться запоздалому обличению крепостного права. Недобрая память, оставленная им в русской истории, слишком очевидна. Однако, отрицая историческую роль русского дворянства, мы рискуем впасть в крайность.

Деятели Петровской эпохи любили подчеркивать общенародный смысл осуществляемых в тяжелых трудах реформ. В речи, посвященной Ништадтскому миру, Петр сказал, что «надлежит трудитца о ползе и прибытке общем <...> от чего облегчен будет народ»¹. Сходную мысль выразил и Феофан Прокопович в речи, посвященной этому же событию. Вопросая, каковы должны быть плоды мира, он отвечал: «Умаление народных тяжестей»².

Еще в XVII веке, в поэзии Симеона Полоцкого, возник идеал царя-труженика, который «трудится своими руками» и царствует ради блага подданных. Этот образ получил монументальное развитие в творчестве М. Ломоносова. Его Петр

Рожденны к Скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть наук...³

Он являлся не в блеске престола, а «в поте, в пыли, в дыму, в пламени», «за отдохновение почитал себе трудов Своих перемену. Не токмо день или утро, но и солнце на восходе освещало его на многих местах за разными трудами»⁴. Конечно, многие высказывания современников несут на себе печать лести. Но не лесть руководила историком князем Михаилом Щербатовым (его перо не щадило современных ему государей), когда он в «Рассмотрении о пороках и самовластии Петра Великого», перечислив все негатив-

ные стороны его царствования, все же вынес оправдательный приговор реформатору. Не был льстецом и Пушкин в своих знаменитых строках:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Личный труд Петра не был забавой, странной причудой — это была программа, утверждение равенства всех в службе. Государственная служба приобретала для Петра почти религиозное значение грандиозной, непрерывной литургии в храме Государства. Работа была его молитвой*.

И если в среде старообрядцев возникла легенда о «подменном царе» и «царе-антихристе»**, то выходец из народа Иван Посошков, бесспорно, отражал не только свое личное мнение, когда писал: «Великий

* Несмотря на враждебное отношение к попыткам церковных деятелей влиять на государственную власть, на известные случаи кощунства, Петр тщательно соблюдал православные обряды. Даже нерасположенный к нему дипломат Юст Юль вынужден был признать, что «царь благочестив», а другой свидетель, француз Ле-Форт в 1721 году отмечал, что «царь говел более тщательно, чем обычно, с Mea culpa (покаянием. — Ю. Л.), коленопреклонением и многократным целованием земли».

** В народнических кругах и в окружении А. И. Герцена существовала тенденция видеть в старообрядцах выразителей мнений *всего* народа и на этом основании конструировать отношение крестьянства к Петру. В дальнейшем эту точку зрения усвоили русские символисты — Д. С. Мережковский и др., отождествлявшие сектантов и представителей раскола со всем народом. Вопрос этот нуждается в дальнейшем беспристрастном исследовании. Отметим лишь, что такие, сделавшиеся уже привычными утверждения, как мнение известного исследователя лубка Д. Ровинского, что лубок «Как мыши kota хоронили» и ряд листов на тему «Старик и ведьма» являются сатирами на Петра, на поверку оказываются ни на чем не основанными.

наш монарх... на гору... сам-десять тянет»⁵. Вряд ли представляли исключение и те олонецкие мужики, которые, вспоминая Петра, говорили, что Петр — царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще батрака работал. Нельзя забывать и о неизменно положительном образе Петра в русском сказочном фольклоре.

Не будем, однако, настаивать на правоте того или другого взгляда: легенда о «народном царе» — такая же легенда, как и о «царе-антихристе». Отметим лишь существование обеих легенд и попытаемся оценить реальную ситуацию.

Дворянство, бесспорно, поддерживало реформу. Именно отсюда черпались неотложно потребовавшиеся новые работники: офицеры для армии и флота, чиновники и дипломаты, администраторы и инженеры, ученые. То были энтузиасты труда на благо государства, — такие, как историк и государственный деятель В. Н. Татищев, писавший, что все, чем он обладает (а «обладал» он многим: изучал в Швеции финансовое дело, строил заводы и города, «управлял» калмыцким народом, был географом и историком), он получил от Петра, и главное, подчеркивал он, разум.

Однако, когда мы говорим «дворянство» применительно к этой эпохе, следует уточнить наши привычные, основанные на Гоголе или Тургеневе представления. Важно иметь в виду, что во время восстания Болотникова и других массовых народных движений дворянские отряды составляли хотя и нестойкую и ненадежную, но активную периферию крестьянских армий. Крепостное право еще только складывалось, и в пестрой картине допетровского общества с его богатством групп и прослоек дворянин и крестьянин еще не сделались полярными фигурами.

Поэтому можно взглянуть на вопрос и с другой стороны. XVII век был «бунташным» веком. Он начался смутой, самозванцами, польской и шведской интервенцией, крестьянской войной под руководством Болотникова и продолжался многочисленными мятежами и бунтами. Мы привыкли к упрощенному взгляду, согласно которому взрывы классовой борьбы всегда соответствуют интересам низших классов, а выражение «крестьянская война» воспринимается как обозначение такой войны, которая отвечает интересам всего крестьянства и в которой крестьянство почти поголовно участвует. При этом мы забываем слова Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Уже смута с ее бесчинствами, которые творили не только интервенты, но и многочисленные вооруженные банды «гулящих людей», причинила сельскому населению России неизмеримые страдания. Опустошенные и разграбленные села, крестьянские избы, забитые трупами, голод, бегство населения — такая картина возникает из документов. Мятежи и бунты вызывали неслыханную вспышку разбойничества. Наивная идеализация — видеть в этих разбойниках Робинов Гудов или Карлов Мооров, защитников эксплуатируемых, обрушивших весь свой классовый гнев на угнетателей народа. Основной жертвой их делался беззащитный крестьянин:

Уж как рыбу мы ловили
По сухим по берегам,
По сухим по берегам —
По амбарам, по клетям.
А у дядюшки Петра
Мы поймали осетра,
Что того ли осетра —
Все гнедого жеребца.

(Фольклорная запись моя. — Ю. Л.).

Ограбленный «дядюшка Петр» вряд ли был угнетателем народа.

Идея порядка, «регулярного государства» вовсе не была внушена Петру I путешествием в Голландию или вычитана у Пуффендорфа — это был вопль земли, которая еще не залечила раны «бунташного века» и одновременно не могла себе представить, во что обойдется ей эта «регулярность».

Психология служилого сословия была фундаментом самосознания дворянина XVIII века. Именно через службу сознавал он себя частью сословия. Петр I всячески стимулировал это чувство — и личным примером, и рядом законодательных актов. Вершиной их явилась Табель о рангах, выработывавшаяся в течение ряда лет при постоянном и активном участии Петра I и опубликованная в январе 1722 года. Но и сама Табель о рангах была реализацией более общего принципа новой петровской государственности — принципа «регулярности».

Формы петербургской (а в каком-то смысле и всей русской городской) жизни создал Петр I. Идеалом его было, как он сам выражался, регулярное — правильное — государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена правилам, выстроена с соблюдением геометрических пропорций, сведена к точным, однолинейным отношениям. Проспекты прямые, дворцы возведены по официально утвержденным проектам, все выверено и логически обосновано. Петербург пробуждался по барабану: по этому знаку солдаты приступали к учениям, чиновники бежали в департаменты. Человек XVIII века жил как бы в двух измерениях: полдня, полжизни он посвящал государственной службе, время которой было точно установлено регламентом, полдня он находился вне ее.

Однако идеал «регулярного государства», конечно, никогда не мог быть и не был полностью реали-

зован. С одной стороны, «регулярность» постоянно размывалась живой жизнью, не мирящейся с механическим единообразием, с другой — перерождалась в реальность бюрократическую. И если идеал Петра I вначале имел известные резоны, то очень скоро он породил одно из основных зол и вместе с тем основных характерных черт русской жизни — ее глубокую бюрократизацию.

Прежде всего регламентация коснулась государственной службы. Правда, чины и должности, которые существовали в допетровской России (боярин, стольник и др.), не отменялись. Они продолжали существовать, но эти чины перестали жаловать, и постепенно, когда старики вымерли, с ними исчезли и их чины. Вместо них введена была новая служебная иерархия. Оформление ее длилось долго. 1 февраля 1721 года Петр подписал проект указа, однако он еще не вступил в силу, а был роздан государственным деятелям на обсуждение. Сделано было много замечаний и предложений (правда, Петр ни с одним из них не согласился; это была его любимая форма демократизма: он все давал обсуждать, но потом все делал по-своему). Далее решался вопрос о принятии указа о Табели. Для этого создана была специальная комиссия, и только в 1722 году этот закон вступил в силу.

Что представляла собой Табель о рангах? Основная, первая мысль законодателя была в целом вполне трезвой: люди должны занимать должности по своим способностям и по своему реальному вкладу в государственное дело. Табель о рангах и устанавливала зависимость общественного положения человека от его места в служебной иерархии. Последнее же в идеале должно было соответствовать заслугам перед царем и отечеством. Показательна правка, которой Петр подверг пункт третий Табели. Здесь ут-

верждалась зависимость «почестей» от служебного ранга: «Кто выше своего ранга будет себе почести требовать, или сам место возмет, выше данного ему ранга; тому за каждый случай платить штрафу, 2 месяца жалования». Составлявший ранний вариант закона А. И. Остерман направил этот пункт против «ссоролюбцев», то есть представителей старой знати, которые и в новых условиях могли попытаться местничать — затевать ссоры о местах и почестях. Однако Петра уже больше волновало другое: возможность того, что неслужившие или нерадивые в службе родовитые люди будут оспаривать преимущества у тех, кто завоевал свой ранг усердной службой. Он вычеркнул «ссоролюбцев» и переформулировал требование соответствия почета и чина так: «Дабы тем охоту подать к службе, и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать»⁶.

Большим злом в государственной структуре допетровской Руси было назначение в службу по роду. Табель о рангах отменила распределение мест по крови, по знатности, приводившее к тому, что почти каждое решение оказывалось сложной, запутанной историей. Оно порождало множество распрей, шумных дел, судебных разбирательств: имеет ли право данный сын занимать данное место, если его отец занимал такое-то место, и т. д. Приказ, ведавший назначениями, был завален подобными делами даже во время военных действий: прямо накануне сражений очень часто возникали непримиримые местнические споры из-за права по роду занять более высокое место, чем соперник. Начинался счет отцами, дедами, родом — и это, конечно, стало для деловой государственности огромной помехой. Первоначальной идеей Петра и было стремление привести в соответствие должность и оказываемый почет, а должности распределять в зависимости от личных заслуг перед го-

сударством и способностей, а не от знатности рода. Правда, уже с самого начала делалась существенная оговорка: это не распространялось на членов царской семьи, которые всегда получали в службе превосходство.

Табель о рангах делила все виды службы на воинскую, статскую и придворную. Первая, в свою очередь, делилась на сухопутную и морскую (особо была выделена гвардия). Все чины были разделены на 14 классов, из которых первые пять составляли генералитет (V класс сухопутных воинских чинов составляли бригадиры; этот чин был впоследствии упразднен). Классы VI–VIII составляли штаб-офицерские, а IX–XIV — обер-офицерские чины.

Табель о рангах ставила военную службу в привилегированное положение. Это выражалось, в частности, в том, что все 14 классов в воинской службе давали право наследственного дворянства, в статской же службе такое право давалось лишь начиная с VIII класса. Это означало, что самый низший обер-офицерский чин в военной службе уже давал потомственное дворянство, между тем как в статской для этого надо было дослужиться до коллежского асессора или надворного советника*. Об этом говорил 15-й пункт Табели: «Воинским чинам, которые дослужатся до Обер-офицерства не из Дворян; то когда кто получит вышеописанной чин, оной суть Дворянин, и его дети, которые родятся в Обер-офицерстве; а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бить челом, тогда Дворянство давать и тем, только одному сыну, о котором отец будет просить. Прочие же чины,

* Впоследствии, особенно при Николае I, положение менялось в сторону все большего превращения дворянства в замкнутую касту. Уровень чина, при котором недворянин получал дворянство, все время повышался.

как гражданские, так и придворные, которые в Рангах не из Дворян, оных дети не суть Дворяне»*.

Из этого положения в дальнейшем проистекло различие между наследственными (так называемыми «столбовыми») дворянами и дворянами личными. К последним относились статские и придворные чины XIV–IX рангов. Впоследствии личное дворянство давали также ордена (дворянин «по кресту») и академические звания. Личный дворянин пользовался рядом сословных прав дворянства: он был освобожден от телесных наказаний, подушного оклада, рекрутской повинности. Однако он не мог передать этих прав своим детям, не имел права владеть крестьянами, участвовать в дворянских собраниях и занимать дворянские выборные должности.

Такая формулировка закона открывала, по мысли Петра I, доступ в высшее государственное сословие людям разных общественных групп, отличившимся в службе, и, напротив, закрывала доступ «нахалам и тунеядцам». Подход этот диктовался напряженными условиями, в которых проводилась реформа, и, бесспорно, создавал иллюзию «общенародного» самодержавия. Характерен такой эпизод: в связи

* Предпочтение, даваемое воинской службе, отразилось в полном заглавии закона: «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однакож воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был». Характерно и другое: назначив воинские чины I класса (генерал-фельдмаршал в сухопутных и генерал-адмирал в морских войсках), Петр оставил пустыми места I класса в статской и придворной службе. Лишь указание Сената, что это поставит русских дипломатов при сношениях с иностранными дворами в неравное положение, убедило его в необходимости I класса и для статской службы (им стал канцлер). Придворная же служба так и осталась без высшего ранга.

с тем, что в ряде законодательных актов встречались выражения «знатное шляхетство» или «знатное дворянство», Сенат в 1724 году обратился к императору с вопросом, кого следует относить к этой группе: имеющих определенное состояние («кто имеют более ста дворов») или по рангам? Петр I отвечал: «Знатное дворянство по годности считать»⁷.

Военная служба считалась преимущественно дворянской службой — статская не считалась «благородной». Ее называли «подьяческой», в ней всегда было больше разночинцев, и ею принято было гнушаться. Исключение составляла дипломатическая служба, также считавшаяся «благородной». Лишь в александровское и позже в николаевское время статский чиновник начинает в определенной мере претендовать на общественное уважение рядом с офицером. И все же почти до самого конца «петербургского периода» правительство в случае, если требовался энергичный, расторопный и желателно честный администратор, предпочитало не «специалиста», а гвардейского офицера. Так, Николай I назначил в 1836 году генерала от кавалерии графа Николая Александровича Протасова обер-прокурором Святейшего синода, то есть практически поставил его во главе русской церкви. И тот без года двадцать лет исполнял эту должность, с успехом приблизив духовные семинарии по характеру обучения к военным училищам.

Однако правительственная склонность к военному управлению и та симпатия, которой пользовался мундир в обществе, — в частности, дамском, — происходили из разных источников. Первое обусловлено общим характером власти. Русские императоры были военными и получали военное воспитание и образование. Они привыкали с детства смотреть на армию как на идеал организации; их эстетические представления складывались под влиянием парадов,

они носили фраки только путешествуя за границей инкогнито. Нерассуждающий, исполнительный офицер представлялся им наиболее надежной и психологически понятной фигурой. Даже среди статских чиновников империи трудно назвать лицо, которое хотя бы в молодости, хоть несколько лет не носило бы офицерского мундира.

Иную основу имел «культ мундира» в дворянском быту. Конечно, особенно в глазах прекрасного пола, не последнюю роль играла эстетическая оценка: расшитый, сверкающий золотом или серебром гусарский, сине-красный уланский, белый (парадный) конногвардейский мундир был красивее, чем бархатный кафтан щеголя или синий фрак англomана. Особенно заметным стало отличие военного от статского, когда в начале XIX века (Карамзин отметил это в 1802 году в «Вестнике Европы», а Мюссе в 1836-м в «Исповеди сына века», связав с романтической модой на траур и печаль) молодые люди оделись в черные фраки, после чего черный цвет надолго утвердился за официальной одеждой статского мужчины. До того как романтизм ввел моду на разочарованность и сплин, в молодом человеке ценилась удаль, умение жить широко, весело и беспечно. И хотя маменьки предпочитали солидных женихов во фраках, сердца их дочерей склонялись к лихим поручикам и ротмистрам, весь капитал которых состоял в неоплатных долгах и видах на наследство от богатых тетушек.

И все же предпочтение военного статскому имело более весомую причину. Табель о рангах создавала военно-бюрократическую машину государственного управления. Власть государства покоилась на двух фигурах: офицере и чиновнике, однако социокультурный облик этих двух кариатид был различным. Чиновник — человек, само название которого производится от слова «чин». «Чин» в древнерусском языке

означает «порядок». И хотя чин, вопреки замыслам Петра, очень скоро разошелся с реальной должностью человека, превратившись в почти мистическую бюрократическую фикцию, фикция эта имела в то же время и совершенно практический смысл. Чиновник — человек жалованья, его благосостояние непосредственно зависит от государства. Он привязан к административной машине и не может без нее существовать. Связь эта грубо напоминает о себе первого числа каждого месяца, когда по всей территории Российской империи чиновникам должны были выплачивать жалованье. И чиновник, зависящий от жалованья и чина, оказался в России наиболее надежным слугой государства. Если во Франции XVIII века старое судебское сословие — «дворянство мантии» — дало в годы революции идеологов третьему сословию, то русское чиновничество менее всех других групп проявило себя в революционных движениях.

Имелась и еще одна сторона жизни чиновника, определявшая его низкий общественный престиж. Запутанность законов и общий дух государственного произвола, ярчайшим образом проявившийся в чиновничьей службе, привели (и не могли не привести) к тому, что русская культура XVIII — начала XIX века практически не создала образов беспристрастного судьи, справедливого администратора — бескорыстного защитника слабых и угнетенных. Чиновник в общественном сознании ассоциировался с крючкотвором и взяточником. Уже А. Сумароков, Д. Фонвизин и особенно В. Капнист в комедии «Ябеда» (1796) запечатлевают именно такой стереотип общественного восприятия. Не случайно исключением в общественной оценке были чиновники иностранной коллегии, чья служба для взяточбрателя не была заманчивой, но зато давала простор честолюбивым видам. От служащих Коллегии иностранных дел тре-

бовались безукоризненные манеры, хороший французский язык (а в русском языке — ясность слога и изящный «карамзинский» стиль) и тщательность в одежде. Гоголь, описывая гуляющих на Невском проспекте, выделил именно этот класс чиновников: «К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! Как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников». Далее Гоголь сообщает читателю: на Невском проспекте вы «встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие». Чиновник же других коллегий, особенно подьячий, по выражению Сумарокова — «кувшинное рыло», Гоголю рисовался в облике неопрятного существа и безжалостного взятокбрателя. Капнист в комедии «Ябеда» заставил хор провинциальных чиновников петь куплет:

Бери, большой тут нет науки;
 Бери, что можно только взять.
 На что ж привешены нам руки,
 Как не на то, чтоб брать?⁸

Гоголевский Поприщин («Записки сумасшедшего») рисует такой портрет чиновника «в губернском правлении, гражданских и казенных палатах»: «Там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкой, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фар-

форовой вызолоченной чашки и не носи к нему: “это”, говорит, “докторский подарок”; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенькой, говорит так деликатно: “Одолжите ножичка починить перышко”, а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе».

Русская бюрократия, являясь важным фактором государственной жизни, почти не оставила следа в духовной жизни России: она не создала ни своей культуры, ни своей этики, ни даже своей идеологии. Когда в пореформенной жизни потребовались журналисты, деятели обновленного суда, адвокаты, то они, особенно в первые десятилетия после отмены крепостного права, появлялись из совсем другой среды, в первую очередь из той, которая была связана с церковью, с белым духовенством и которую петровская реформа, казалось, отодвинула на второй план*.

Положение другой опоры России «императорского периода» — офицерства — было иным. Как мы уже сказали, дворянство фактически монополизировало военную службу. Но оно, в результате петровской реформы, сделалось монополистом еще более важной стороны общественной жизни — присвоило себе исключительное право душевладения. Не нужно говорить, насколько губительно это сказалось как на судьбах России, так и на судьбах самого дворянства. Первое выразилось в неестественной задержке освобождения крестьян, искажившей весь путь империи, вопреки приданному ей европейскому импульсу. Второе — в том, что, несмотря на значительность своего вклада в национальную культуру, дворянство в России так и не смогло приспособиться к порефор-

* Интересно, что дворянство, быстро разорывшееся в 1830–1840-е годы, тоже внесло активный вклад в формирование русской интеллигенции. Профессиональное дореформенное чиновничество оказалось и здесь значительно менее активным.

менному существованию, в результате чего в культурной жизни образовался еще один разрыв.

Но, подчеркнем еще раз, сознание «исторических грехов» русского дворянства не должно заслонять от нас значительности его вклада в национальную культуру. Целый период в 150 лет будет отмечен печатью государственного и культурного творчества, высокими духовными поисками, произведениями общенационального и общечеловеческого значения, созданными в недрах русской дворянской культуры и одновременно вошедшими в историю общечеловеческой духовной жизни. Мы говорим о «дворянской революционности», и это парадоксальное сочетание лучше всего выражает то противоречие, о котором идет речь.

Как это ни покажется, может быть, читателю странным, следует сказать, что и крепостное право имело для истории русской культуры в целом некоторые положительные стороны. Именно на нем покоилась, пусть извращенная в своей основе, но все же определенная независимость дворян от власти — то, без чего культура невозможна. Офицер служил не из-за денег. Жалованье его едва покрывало расходы, которых требовала военная жизнь, особенно в столице, в гвардии. Конечно, были казнокрады: где-нибудь в армейском полку в провинции можно было сэкономить на сене для лошадей, на ремонте лошадей*,

* Ремонт лошадей — технический термин в кавалерии, означающий пополнение и обновление конского состава. Для закупки лошадей офицер с казенными суммами командировался на одну из больших ежегодных конских ярмарок. Поскольку лошади покупались у помещиков — лиц частных, проверки суммы реально истраченных денег фактически не было. Гарантиями реальности суммы денежных трат были, с одной стороны, доверие к командированному офицеру, а с другой — опытность полкового начальства, разбиравшегося в стоимости лошадей.

на солдатской амуниции, но нередко командиру роты, полка, шефу полка для того, чтобы содержать свою часть «в порядке» (а при системе аракчеевской муштры амуниция приходила в негодность раньше срока), приходилось доплачивать из своего кармана, особенно перед царскими смотрами. Если вспомнить, что обычаи требовали от офицера гораздо более разгульной жизни, чем от чиновника, что отставать от товарищей в этом отношении считалось неприличным, то нам станет ясно, что военная служба не могла считаться доходным занятием. Ее обязательность для дворянина состояла в том, что человек в России, если он не принадлежал к податному сословию, не мог не служить. Без службы нельзя было получить чина, и дворянин, не имеющий чина, казался бы чем-то вроде белой вороны. При оформлении любых казенных бумаг (купчих, закладов, актов покупки или продажи, при выписке заграничного паспорта и т. д.) надо было указывать не только фамилию, но и чин. Человек, не имеющий чина, должен был подписываться: «недоросль такой-то». Известный приятель Пушкина князь Голицын — редчайший пример дворянина, который никогда не служил, — до старости указывал в официальных бумагах: «недоросль».

Впрочем, если дворянин действительно никогда не служил (а это мог себе позволить только магнат, сын знатнейшего вельможи, основное время проживающий за границей), то, как правило, родня устраивала ему фиктивную службу (чаще всего — придворную). Он брал долгосрочный отпуск «для лечения» или «для поправки домашних дел», к старости «дослуживался» (чины шли за выслугу) до какого-нибудь обергофмейстера и выходил в отставку в генеральском чине. В Москве второй половины 1820-х годов, когда заботливые маменьки начали опасаться отпускать своих мечтательных и склонных к немецкой фило-

софии отпрысков в гвардейскую казарму, типичной фиктивной службой сделалось поступление в Архив коллегии иностранных дел. Начальник архива Д. Н. Бантыш-Каменский охотно зачислял этих молодых людей (их в обществе стали иронически называть «архивными юношами») «сверх штата», то есть без жалованья и без каких-либо служебных обязанностей, просто по старомосковской доброте и из желания угодить дамам.

Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей. Бюрократическое государство создало огромную лестницу человеческих отношений, нам сейчас совершенно непонятных. Все читатели наверняка помнят то место из гоголевского «Ревизора», когда Хлестаков, завираясь, входит в раж. Он еще не сделал себя главнокомандующим, он еще только начинает врать и говорит: «Мне даже на пакетах пишут „ваше превосходительство”». Что это значит? Почему гоголевские чиновники так перепугались, что стали повторять «ва... ва... ваше превосходительство»? Право на уважение распределялось по чинам. В реальном быту это наиболее ярко проявилось в установленных формах обращения к особам разных чинов в соответствии с их классом. Для особ I и II классов таким обращением было «ваше высокопревосходительство». Особы III и IV классов — «превосходительства» («ваше превосходительство» надо было писать также и университетскому ректору, независимо от его чина). V (тот самый выморочный класс бригадиров, о котором говорилось выше) требовал обращения «ваше высококородие». К лицам VI–VIII классов обращались «ваше высокоблагородие», к лицам IX–XIV классов — «ваше благородие» (впрочем, в быту так обратиться можно было и к любому дворянину, независимо от его чина). Настоящей наукой являлись правила обращения к царю.

На конверте, например, надо было писать: «Его императорскому величеству государю императору», а само обращение начинать словами: «Всемиловейший монарх» или: «Августейший монарх». Даже духовную сферу Петр I как бы регламентировал: митрополит и архиепископ — «ваше высокопреосвященство» (в письменном обращении: «ваше высокопреосвященство, высокопреосвященный владыка»), епископ — «ваше преосвященство» (в письме: «ваше преосвященство, преосвященный владыка»), архимандрит и игумен — «ваше высокопреподобие», священник — «ваше преподобие».

Приведем лишь один пример высокой значимости обращений по чину. В чем смысл эффекта, произведенного репликой Хлестакова? Дело не только в том, что Хлестаков — «елистратишка», как его называет слуга Осип, то есть коллежский регистратор, чиновник самого низшего, XIV класса, — присвоил себе звание чиновника столь высокого ранга (если он — особа III класса, то он либо генерал-лейтенант, либо тайный советник, если IV класса — то генерал-майор, или действительный статский советник, или, как мы знаем, обер-прокурор). Вот эта последняя возможность, по-видимому, и напугала чиновников: ведь обер-прокурор сената — это ревизор, тот, кого посылают раскрывать должностные преступления. Пьяная похвальба Хлестакова через мелкую, нам почти незаметную деталь оказывается связанной с главной темой комедии и с ее символическим заглавием.

Конечно, Петр I не думал охватить регламентами всю жизнь своих подданных. Он специально оговаривал, что «осмотрение каждого ранга не в таких случаях требуется, когда некоторые, яко добрые друзья и соседи съедутся, или в публичных ассамблеях, но токмо в церквях при службе Божией и при Дворцо-

вых церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, при крещениях и сим подобных публичных торжествах и погребениях». Однако даже простое перечисление «оказий», при которых поведение людей определяется их чином, показывает, что число их весьма велико. При этом Петр, который, вводя какой-либо закон, сразу же определял и наказание за его нарушение, устанавливает суровую кару за поведение «не по чину». Штраф (два месяца жалованья) платили и те, кто его получал, и служившие без жалованья: «платить ему такой штраф, как жалованья тех чинов, которые с ним равного ранга»^{*9}.

Место чина в служебной иерархии связано было с получением (или неполучением) многих реальных привилегий. По чинам, к примеру, давали лошадей на почтовых станциях.

В XVIII веке, при Петре I, в России учреждена была «регулярная» почта. Она представляла собой сеть станций, управляемых специальными чиновниками, фигуры которых сделали позже одними из персонажей «петербургского мифа» (вспомним «Станционного смотрителя» Пушкина). В распоряжении станционного смотрителя находились государственные ямщики, кибитки, лошади. Те, кто ездил по государственной надобности — с подорожной или же по своей надобности, но на прогонных почтовых лошадях, приезжая на станцию, оставляли усталых лошадей и брали свежих. Стоимость езды для фельдъегерей оплачивалась государством. Едущие «по собственной надобности» платили за лошадей.

* Надо сказать, что служба без жалованья была довольно частым явлением, а А. Меншиков в 1726 году вообще отменил жалованье мелким чиновникам, говоря, что они и так берут много взятки.

Поэтому провинциальный помещик предпочитал ездить на собственных лошадях, что замедляло путешествие, но делало его значительно дешевле.

Так, пушкинская Ларина

... тащилась,

Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих.

(7, XXXV)

Поместье Лариных, видимо, находилось в Псковской губернии. Путь оттуда в Москву «на почтовых» длился обычно трое суток, а на курьерских — двое. Экономия Лариной привела к тому, что

... Наша дева насладилась
Почтовой скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

(7, XXXV)

При получении лошадей на станциях существовал строгий порядок: вперед, без очереди, пропускались фельдъегеря со срочными государственными пакетами, а остальным давали лошадей по чинам: особы I—III классов могли брать до двенадцати лошадей, с IV класса — до восьми и так далее, вплоть до бедных чиновников VI—IX классов, которым приходилось довольствоваться одной каретой с двумя лошадьми. Но часто бывало и по-другому: проезжему генералу отдали всех лошадей — остальные сидят и ждут... А лихой гусарский поручик, приехавший на станцию пьяным, мог побить беззащитного станционного смотрителя и силой забрать лошадей больше, чем ему было положено.

По чинам же в XVIII веке слуги носили блюда на званых обедах, и сидевшие на «нижнем» конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки. Рассказа-

звали, что князь Г. А. Потемкин однажды позвал к себе на обед какого-то мелкого чиновника и после обеда милостиво спросил его: «Ну как, братец, доволен?» Сидевший в конце стола гость смиренно отвечал: «Премного благодарствую, ваше сиятельство, все видал-с». В это время угощение «по чинам» входило в обязательный ритуал тех огромных пиров, где за столом встречались совершенно незнакомые люди, и даже хлебосольный хозяин не мог вспомнить всех своих гостей*. Лишь в XIX веке этот обычай стал считаться устаревшим, хотя в провинции порой удерживался.

Чин пишущего и того, к кому он обращается, определял ритуал и форму письма. В 1825 году профессор Яков Толмачев выпустил книгу «Военное красноречие». В ней содержались практические правила составления разного рода текстов — от речей полководцев до официальных бумаг. Из книги мы узнаем, что официальный документ обязательно должен быть «чистой и ясной рукописью» без орфографических ошибок, что «в военных бумагах никаких постскриптов быть не должно», и множество других, не менее полезных вещей. Толмачев четко объясняет отличия в форме письма от «младшего» к «старшему» и от «старшего» к «младшему»: «Когда старший пишет к младшему; то обыкновенно при означении звания, чина и фамилии он подписывает собственноручно только свою фамилию; когда младший пишет к старшему, то сам подписывает звание, чин и фамилию»¹⁰. Так что если в письме младшего чина к старшему собственноручно (а не рукой писаря) подписанной окажется только фамилия, — то это грубое нарушение

* В бытописаниях XVIII столетия известен случай, когда некий гость сорок лет регулярно появлялся на обедах у одного вельможи. Однако, когда этот человек умер, оказалось, что никто, включая хозяина, не знал, кто он такой и каково его имя.

правил, это оскорбление, которое может окончиться скандалом. Точно так же значимым было место, где должна ставиться дата письма: начальник ставил число сверху, подчиненный — внизу, и в случае нарушения подчиненным этого правила ему грозили неприятности. Вообще, этикет в письмах должен был соблюдаться с большой точностью. Известен случай, когда сенатор, приехавший с ревизией, в обращении к губернатору (а губернатор был из графов Мамоновых и славился своей гордостью) вместо положенного: «Милостивый государь!» — написал: «Милостивый государь мой!» Обиженный губернатор ответное письмо начал словами: «Милостивый государь мой, мой, мой!» — сердито подчеркнув неуместность притяжательного местоимения «мой» в официальном обращении.

Бюрократический принцип, в который вырождались «регулярность», быстро разрастался, захватывая все новые области жизни, например строительство жилых зданий. В XVIII веке появились типовые проекты — высочайше утвержденные фасады зданий, какие могли строить частные лица. Прелестные особняки XVIII столетия, которые теперь так радуют наш глаз и которые мы так стараемся сохранить (к сожалению, зачастую — безуспешно), построены, как правило, по типовым проектам.

Другой любопытный пример — документ «Распоряжение частному извозчику». Частный извозчик ездил по городу на своих лошадях, но и он должен был подчиняться множеству правил, не имевших, казалось бы, отношения к его занятию. Так, он не мог одеваться по своему усмотрению: «Зимою и осенью кафтаны и шубы иметь, какие кто пожелает, но шапки русские с желтым суконным верхком и опушку черною овчиною, а кушаки желтые шерстяные, летом — мая с 15-го сентября по 15 число балахоны

иметь белые холстяные, а шляпы черные, с перевязью желтою против данных (то есть в соответствии с данными. — *Ю. Л.*) на съезжей образцов и кушаки желтые ж»*. Образцы одежды — на съезжей, то есть в полиции.

Особенно ярко государственное вмешательство проявлялось в мире мундиров. Мундиры были учреждены еще Петром I — сначала для гвардейских полков. Петр ввел униформу: для Преображенского полка — зеленую, для Семеновского — синюю; потом вся гвардейская пехота была одета в зеленые мундиры. Форма была сравнительно простая: офицерский мундир был одного покроя с солдатским, отличаясь от него золотыми галунами, офицерским нагрудным знаком в виде полумесяца и трехцветным шарфом на поясе (с 1742 года — «георгиевских» цветов). Но постепенно требования к мундиру все усложнялись, а затем, после Павла I, превратились в любимую науку государей. Александр I, человек широко образованный, с государственными интересами, часами сидел с Аракчеевым, придумывая новый фасон мундира и цвета мундирного прибора. Об этом непрерывно издавались все новые приказы. Вот один из них — «О мундирах кадетского корпуса»: «Во втором кадетском корпусе у генералитета, штаб- и обер-офицеров и кадетов переменены быть мундиры и сделаны сообразно двум данным образцам». Далее идут образцы.

Все изменения мундиров подписывались лично императором, и у Павла, Александра I и Николая I, а также у брата Александра и Николая великого князя Константина Павловича эти занятия превратились в настоящую «мундироманию».

* Все законы цитируются по изданию: Полное собрание законов Российской Империи, повелением Государя Николая Павловича составленное. [1 собрание] (1649–1825). Т. 1–45. СПб., 1830.

Она, разумеется, не имела никакого отношения к военной подготовке армии. Петровский принцип практической целесообразности «регулярного государства» был полностью утрачен. Регламентация разных сторон жизни, в том числе военной, стала самоцелью. Так создавалась гигантская бюрократическая машина со всем ее формализмом и с чином как главным (зачастую — единственным) стимулом служебного поведения.

Выше уже говорилось о том, что в культуре петербургского («императорского») периода русской истории понятие чина приобрело особый, почти мистический характер. Слово «чин», по сути дела, разошлось в значении с древнерусским «порядок», ибо подразумевало упорядоченность не реальную, а бумажную, условно-бюрократическую. Вместе с тем слово это, не имеющее точного соответствия ни в одном из европейских языков (хотя Петр I и был уверен, что его реформы делают Россию похожей на Европу), стало обозначением важнейшей особенности русской действительности.

С одной стороны, чин — это некая узаконенная фикция, слово, обозначающее не реальные свойства человека, а его место в иерархии. Псевдобытие бюрократии придает существованию человека-чина призрачность. Это как-бы-существование. Герой «Записок сумасшедшего» Гоголя возмущался: «Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего кроме достоинство*»; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу». Гоголевский Поприщин чувствует фиктивность раз-

* «Достоинство» — здесь «сан, звание, чин». См.: *Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1978, т. 1, с. 480.*

деления людей по чину: «Ведь у него же нос не из золота сделан. ... Ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добаться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник, и с какой стати я титулярный советник». Чин — пустая вещь, слово, призрак. Фикция господствует над жизнью, ею управляет. Эта мысль становится для Гоголя одной из центральных, и мы не поймем его произведений, не зная, например, почему так важно, что чиновник, от которого ушел нос, — майор; почему Поприщин и Башмачкин — титулярные советники.

... Но жизнь есть жизнь, и она всеми средствами сопротивлялась принципу универсальной регламентации. Как ни стремилась бюрократическая иерархия охватить все стороны человеческого существования, она никак не могла исчерпать разнообразия жизни — даже официальной, государственной. Кроме иерархии чинов, существовали и другие системы — например, система орденов.

Система орденов, возникнув при Петре I, вытеснила существовавшие ранее типы царских наград. Общий смысл проведенной Петром перемены состоял в том, что вместо награды-вещи появилась награда-знак. Если прежде награда состояла в том, что человека жаловали ценными предметами, то теперь он награждался знаком, имевшим лишь условную ценность в системе государственных отличий*. Эту «неестественность» ордена как награды подчеркнул Гоголь, столкнув в «Записках сумасшедшего» два противоположных взгляда: чиновничий, доводящий

* Старый принцип, однако, не был до конца уничтожен. Это отражалось в том, что периодически в систему орденов врывались не условные, а материальные ценности. Так, орденская звезда с бриллиантами имела значение особой степени отличия.

поклонение орденам до почти мистического обожествления, и «естественный» взгляд собачки, которая нюхает и лижет орден, пытаюсь найти его подлинную, безусловную ценность в каком-то особом вкусе или запахе.

Значение слова «орден»* в XVIII веке не совпадало с нынешним: орденом назывался не предмет, а рыцарское братство. Западноевропейские средневековые ордена в честь какого-либо святого объединяли своих членов служением рыцарским идеалам данного ордена. Во главе ордена стоял рыцарь-магистр. Со времени укрепления в Западной Европе абсолютизма это, как правило, был глава государства. Членство ордена мыслилось как некое религиозное, нравственное или политическое служение. Внешними атрибутами членства в ордене были особый костюм, знак ордена и звезда, носившиеся на одежде в специально установленных местах, а также — иногда — орденское оружие.

Однако средневековый орден как форма рыцарской организации противоречил юридическим нормам абсолютизма, и королевский абсолютизм в Европе практически свел ордена к знакам государственных наград.

Первоначально предполагалось, что, по образцу рыцарских орденов, ордена в России также будут представлять собой братство рыцарей — носителей данного ордена. Однако по мере того, как в России XVIII века ордена складывались в систему, они получали новый смысл, подобный новоевропейскому — становились знаками наград. Система орденов оказалась довольно противоречивой. Идея ордена предполагала единство. Два первых русских ордена: св. Андрея Первозванного и св. Екатерины — были

* От *лат.* *ordo* — ряд, порядок.

задуманы не по иерархическому принципу, а как мужской и женский ордена. Первый предназначался для имевших большие государственные заслуги мужчин, второй — для женщин; первой, получившей его, была Екатерина I. Видимо, первоначально предполагалось, что эти два дополняющих друг друга ордена исчерпают всю систему. Правда, уже при Петре I в ней появилось противоречие. После измены Мазепы разгневанный Петр придумал вещь неслыханную — издевательский орден Иуды Искаротиота. Эта странная идея не получила, однако, развития. Мазепа не был захвачен в плен, и «вручение ордена» (которое представляло бы на самом деле пытку) не состоялось. В дальнейшем об этом ордене никто не вспоминал.

После Петра в России стали появляться и новые ордена. Создалась орденская иерархия, имевшая и наглядное выражение: так, например, звезда ордена св. Андрея Первозванного носилась выше звезды Владимирского ордена, так как Андреевский оставался высшим орденом Российской империи. Ордена, имевшие степени, создавали внутриорденскую иерархию.

В целом иерархия орденов не была постоянной. Как правило, создаваемый тем или иным государем новый орден оказывался его «любимцем». В этом случае получить именно такой орден считалось особенно почетным, даже если он не был высшим в официальной иерархии. Так, было хорошо известно, что Павел I не любил орденов, введенных матерью (и официально занимавших высокие места в орденской системе), а любил орден св. Анны. Получение этого — официально второстепенного — ордена при Павле стало весьма почетным.

Павел I сделал и попытку установить более строгую систему русских орденов, учредив в день своей коронации (5 апреля 1797 года) «Российский кавалерийский орден св. Анны».

лерский орден» из 4-х классов: орден св. Андрея Первозванного, св. Екатерины, св. Александра Невского и св. Анны. Но он же — что было для него очень типичным — сам ее и нарушил, введя в систему русских орденов иностранный Мальтийский орден*, который пользовался его особой любовью.

Было бы, однако, неправильным считать, что русская система орденов была беспорядочной — скорее, она была динамичной, отражая в гораздо большей степени, чем чины, изменения государственной системы ценностей — но и не только их.

Так, сложное влияние на ордена оказывала мода. Ордена в России не всегда выдавались официальными инстанциями — нередко выдавалось лишь право на их ношение, а затем награжденный сам заказывал себе орден. Поэтому заказчик мог по собственному вкусу менять величину ордена, а иногда и так или иначе украшать его. В результате в сферу орденов вторглась мода: в героическом XVIII веке в моде были большие, массивные ордена, в александровскую эпоху предпочитались ордена изящные.

Когда Н. М. Карамзин во второй половине 1810-х годов должен был поехать в Петербурге во дворец, обнаружилось, что его орден св. Анны «неприлично старомоден» (крест был солидных размеров и казался «старинным»). Отправляясь во дворец, Карамзин поспешно обменялся орденом с Федором Глинкой.

* Официальное название — орден св. Иоанна Иерусалимского. Как известно, Павел I взял под покровительство остров Мальту и в декабре 1798 г. объявил себя великим магистром Мальтийского ордена. Конечно, это было совершенно невозможным: кавалеры Мальтийского ордена давали обет безбрачия, а Павел был уже вторично женат; кроме того, Мальтийский орден — католический, а русский царь, разумеется, был православным. Но Павел I считал, что он все может (даже литургию отслужил однажды!); все, что может Бог, под силу и русскому императору.

Позже оба литератора (полушутя — полувсерьез) называли себя «крестовыми братьями», так как обменялись «крестами». (Шутка содержала намек на обычай обмениваться крестами при братании, но, в отличие от князя Мышкина и Парфена Рогожина в «Идиоте» Ф. Достоевского, Карамзин и Глинка обменялись не крестильными, а орденскими крестами.)

Существующие правила действовали не автоматически, но допускали широкую вариативность относительно того, за что давались награды. Орден св. Андрея Первозванного, к примеру, мог быть получен и за военные, и за штатские заслуги. У Гоголя был замысел комедии «Владимир III степени», в которой чиновник, сойдя с ума, решил, что он — Владимирский орден. Тема человека, обменявшего, по мысли Гоголя, все человечески ценное на безумную фикцию, потребовала именно Владимирского ордена.

Особняком стоял орден св. Георгия. Во-первых, Георгиевская звезда I класса носилась выше других, уступая только св. Андрею Первозванному; во-вторых, Георгиевский крест никогда нельзя было снимать. В-третьих, Георгий давался только военным и преимущественно за боевые заслуги (за выслугу лет — 25 лет в офицерском чине или 18 кампаний во флоте — IV класс). Так, например, за войну 1812 года Георгия I степени получил только один человек — Кутузов, в 1813–1814 годах — еще один — Барклай де Толли, а позже — Л. Л. Беннигсен. Александр I лишь один раз (под Аустерлицем) участвовал в бою и имел Георгия низшей — IV степени. Если св. Андрей Первозванный давался коронованным особам и членам царской фамилии автоматически, то Георгия всегда надо было *заслужить*. Только один царь — Александр II — имел удивительную смелость сам на себя возложить Георгия I степени, хотя никаких бо-

евых заслуг у него не было. В качестве предлога был использован юбилей ордена*.

В системе отличий в России XVIII — начала XIX века ордена в целом занимали несколько особое место. С одной стороны, они, как и чины, не были «вещью настоящей», по словам гоголевского Поприщина. Условность государственной структуры выступала здесь особенно заметно. Но с другой стороны, эта же черта ордена придавала ему ценность награды за бескорыстное служение. И если награждения статских чиновников могли свидетельствовать лишь о расположении начальства, то орден св. Георгия-Победоносца или св. Владимира с мечами сохраняли ценность в глазах общества, свидетельствуя о патриотическом служении.

В целом же орден как таковой вызывал к себе двойственное отношение. Поэтому в офицерской среде был принят вопрос: за что орден? Характер ответа определял, в какой мере награда отражает реальные заслуги. Возможность быть знаком патриотических заслуг отличала орден от чина (особенно статского или придворного), прямо отражавшего лишь место человека в государственной бюрократии.

Кроме системы орденов, ослаблявшей тотальную регламентацию государственной жизни, мы можем назвать иерархию, в определенном смысле противостоящую чинам, образованную системой знатности. Знатность русских бояр — понятие допетровской эпохи. Усиление государственности в начале XVIII века привело, как мы видели, к конфликту между знатностью и службой. Но и само понятие знати не было постоянным.

С одной стороны, многие старинные боярские роды исчезали — вымирали или окончательно разорялись,

* До этого орден был возложен на Екатерину II как на его учредительницу.

с другой — усиливавшееся государство укрепляло себя «новой» знатью*.

В окружении Петра I были люди, относившие свое происхождение к самым старинным боярским родам, например, Борис Петрович Шереметев (Пушкин подчеркнул его родовитость, назвав Шереметева — единственного во всем перечислении «птенцов гнезда Петрова» в «Полтаве» — «благородным»). Однако в пестром кругу русской знати XVIII века можно было встретить и тех, кто, по определению Пушкина, «торговал блинами» (А. Меншиков) или «пел с придворными дьячками» (А. Разумовский), и тех, кого мутная волна дворцовых переворотов вынесла на вершины новой аристократии. Тот же Пушкин, но уже в тоне торжественном, а не ироническом, назвал Меншикова «счастья баловень безродный, // Полудержавный властелин». Однако сущность пушкинских слов от этого не менялась: новая знать происходила из людей «случайных», часто темных. Надо было дать ей место среди знати традиционной.

Петр I пробовал решить этот вопрос, введя в России прежде отсутствовавшие в ней европейские титулы. Так появилось звание графа. Так как традиционного графства в России не было, первоначально этот титул именовался «граф Священной Римской Империи», и получали его от императора Священной Римской Империи. При Петре все новое было в моде —

* Пушкин писал в «Моей родословной»:

У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
<...>
И не якшаюсь с новой знатью.

Само выражение «новая знать», с западноевропейской точки зрения, было парадоксальным.

и графство ценилось выше княжеского титула, но позже титул князя получил дополнительный блеск подлинности в связи с возродившимся интересом к традициям допетровской Руси. Впрочем, к концу XVIII века сложилось уже и «новое княжество». Связи его с подлинными русскими княжескими родами отсутствовали или были фиктивными. Так, например, Орловы — типичные выскочки Екатерининской эпохи — создали своему роду фиктивную родословную.

Помнить, когда появились и откуда произошли те или иные русские роды, помнить их связи между собой, особенно родовые отношения своей семьи, считалось в дворянском кругу обязательным. Екатерининский вельможа граф А. Н. Самойлов любил повторять: «Родно умеи счесть и отдай ей честь». Увеличение при Петре и ближайших его наследниках числа «случайных» людей возбудило интерес к древности рода. Древность начали вновь ценить, собирать сохранившиеся родовые документы (не всегда достоверные).

Имелось в России и звание барона. Однако это звание (за исключением баронов прибалтийских) не вызывало особого уважения. Русский барон — как правило, финансист, а финансовая служба не считалась истинно дворянской.

Наконец, в качестве экзотических, попадались у русской знати и иностранные титулы. Так, один из потомков крестьянина Строганова купил себе итальянский титул «графа Сен-Дonato».

Многочисленная и разнородная по своему составу знать противостояла в целом разночинцам, начавшим с 1840-х годов играть все большую роль в русской культуре. Чиновная лестница также противоречила порой знатности: знатный вельможа, потомок богатого рода, мог служить не старательно или же вообще выйти в отставку рано (служба, хотя бы краткая, все-

таки была обязательна). Мог он, как уже говорилось, и служить фиктивно где-нибудь в придворной службе или, взяв отпуск, уехать за границу. Такой человек зачастую не был заинтересован в чинах (он мог получать чины быстро, но мог и «застрять» на ступенях чиновничьей лестницы). А обладающий дарованиями, потребными для бюрократической службы, чиновник мог «выбиться в люди», получить дворянство. Поэтому в кругах поместного дворянства, зачастую родовитого, считалось хорошим тоном демонстрировать презрение к чину.

В фундаменте той концепции службы*, которая была заложена в Петровскую эпоху, заключено было противоречие: служба из чести** и служба как государственная (государева) повинность. Развитие крепостного права изменило само понятие слова «помещик». Это был уже не условный держатель государственной земли, а абсолютный и наследственный собственник как земли, так и сидящих на ней крестьян. Память о прошлом еще жила, и Иван Посошков в на-

* Ср. позднейшее ироническое истолкование семантики слова «служить» в речи дворянина и разночинца-поповича: «„Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома — Рязанов. Да, теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили“. “Что же вы с ним, всеобщую или обедню служили?“ — спросил Рязанов. “То есть как?“ — “Я не знаю, как. Должно быть, соборне. А то как же еще?“ Посредник с недоумением смотрел на Рязанова: “Да разве ваш батюшка не служил в гродненских гусарах?“ — “Нет; он больше в селах пресвитером служил”» (Слепцов В.А. Соч. в 2-х т. М., 1957, т. 2, с. 58).

** Известная склонность употреблять высокие слова в сниженно-иронических значениях коснулась позже и выражения «служить из чести». Оно начало обозначать трактирную прислугу, не получающую от хозяина жалованья и служащую за чаевые. Ср. выражение в «Опасном соседе» В.Л. Пушкина, принадлежащее кухарке в публичном доме: «Из чести лишь одной я в доме здесь служу» (Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971, с. 670).

чале XVIII века мотивировал свое требование государственного ограничения власти помещиков тем, что они — временные владельцы государственной собственности и поэтому не брегут о земле и крестьянах как государственной собственности, из которой они стремятся хищнически выжать для себя максимальную пользу. Однако исторический ветер дул в противоположную сторону: власть помещика все более расширялась, и в последней трети XVIII века государство практически устранилось от вмешательства в отношения между помещиком и крестьянином. Даже закон, который позволял помещиков, уличенных в особой жестокости обращения с крепостными, брать в опеку, а управление поместьем передавать опекунам, требовал обязательного участия в этом деле дворянского предводителя, то есть выборного защитника интересов дворянства. Нельзя сказать, чтобы русские цари, начиная с Екатерины II и включая Павла I, Александра и Николая Павловичей, не видели опасности этой ситуации и не обдумывали мер по ограничению крепостного права. При этом ими двигало не только чувство страха перед крестьянскими восстаниями или экономические соображения, но и сознание опасности чрезмерного усиления дворянства как независимой силы. Особенно это можно сказать о Павле и Николае I. Но общая установка на то, чтобы «все изменить, ничего не меняя», определила робость и бесплодность этих попыток.

По мере усиления независимости дворянства оно начало все более тяготиться двумя основными принципами петровской концепции службы: обязательностью ее и возможностью для недворянина становиться дворянином по чину и службе. Оба эти принципа подвергались уже со второй трети XVIII века энергичным атакам. Еще в петровское время И. Посошков, утверждая, что дворяне царю «непрямые слу-

ги», писал, что ему случалось слышать выражение: «Дай-де Бог великому государю служить, а сабли б из ножон не вынимать»¹¹. Но это были, еще по выражению Петра I, «тунеядцы», уклонявшиеся от службы. В программное требование свобода служить или не служить оформилась позже. Отделение дворянских привилегий от обязательной личной службы и утверждение, что самый факт принадлежности к сословию дает право на душе- и землевладение, было оформлено двумя указами: указом Петра III от 20 февраля 1762 года («Манифест о вольности дворянства») и Екатерины II от 21 апреля 1785 года («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства»).

По этим документам дарование дворянам сословных прав: освобождение от обязательной службы, от телесных наказаний, право «беспрепятственно ездить в чужие края» и «вступать в службы прочих европейских нам союзных держав» — получало и более широкую трактовку. В Грамоте Екатерины II содержался пункт 17-й, где писалось: «Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу»¹². При этом дворянину гарантировалась неприкосновенность «чести, жизни и имения» (пункты 9–11-й). Следует напомнить, что в теориях просветителей XVIII века именно защита чести, жизни и имения была основой образования общественного договора и одновременно формулой неотъемлемых прав человека.

Так создалась своеобразная социокультурная ситуация: дворянство окончательно закрепилось как господствующее сословие. Более того, именно за счет положения крестьян, которые после указа 13 декабря 1760 года (дававшего помещикам право ссылать крестьян в Сибирь на поселение «с зачетом их в рекруты») и 17 января 1765 года (расширившего это

право до возможности помещикам по собственному произволу отправлять неугодных крепостных на ка-торгу) были практически низведены до степени рабов («крестьянин в законе мертв», — писал Радищев), дворянство в России получило «вольность и свободу». Культурный парадокс сложившейся в России ситуации состоял в том, что *права господствующего сословия* формулировались именно в тех терминах, которыми философы Просвещения описывали *идеал прав человека*.

Позволим себе одну параллель. Античная демократия классических Афин создавалась за счет рабов и неполноправных граждан. Странно было бы приукрашивать рабовладельческий строй и предполагать, что он не был связан с чудовищными злоупотреблениями. Но не менее странно было бы, глядя на статуи Фидия и Праксителя, читая Софокла или Эврипида, все время приговаривать: «Это все за счет труда рабов». Более того, даже сочинения убежденного сторонника и идеолога рабства Платона не только не исчерпываются «рабовладельческой идеологией», но, бесспорно, являются одной из основ всей европейской цивилизации. Рабовладельческое античное общество создало общечеловеческую культуру. У нас нет причин забывать, во что обошлось России превращение дворянства в замкнутое господствующее сословие, но нет причин забывать и о том, что дала русской и европейской цивилизации русская дворянская культура XVIII — начала XIX века.

Завоевав господствующее положение, дворянство стремилось ослабить свою зависимость от правительства, а следовательно, и от принципов «регулярности» и чиновной иерархии.

В работах некоторых историков высказывалось утверждение, что в результате освобождения дворянства от обязательной службы произошел чуть ли не

массовый отлив из нее дворян: «Дворянство, давно тяготившееся службой, всеми способами отлынивающее от нее, всячески добивалось освобождения от этой повинности». В Грамоте 21 апреля 1785 года они видят лишь «установление вольности на безделье»¹³. Такое объяснение представляется упрощенным. Тем более сомнительным кажется утверждение, что в результате Грамоты о вольности дворянства и якобы бегства дворян со службы правительство вынуждено было заполнять должности разночинцами, становившимися личными дворянами. Тезис этот базируется на смешении гражданской службы с военной. Никакого «бегства» с последней как *массового* явления обнаружить в документах эпохи невозможно. Более того, несмотря на то, что Россия в течение всего XVIII века вела активные военные действия (что, конечно, вызывало высокую убыль офицерских чинов, особенно обер- и штаб-офицеров), никакой нехватки офицерского состава как серьезной армейской проблемы не было. Мы знаем ряд случаев, когда желающие отправлялись в действующую армию сверхштатно, так как вакансии были заполнены. В обширном списке пушкинских знакомых, составленном Л. А. Черейским и дающем весьма представительную общественную выборку, среди родившихся в конце 1790-х годов мы не находим *ни одного* неслужащего и, следовательно, не имеющего чина дворянина. То же можно сказать и о другом представительном списке — «Алфавите декабристов», — составленном для Николая I перечне всех лиц, в какой-либо мере привлекавшихся к дознанию по делу декабристов или хотя бы упоминавшихся в показаниях. И там нет ни одного дворянина, который бы полностью реализовал свое право никогда не служить. Для доказательств «бегства» дворян со службы приводится такой расчет: «К концу Северной войны среди офицеров

русской армии было около 14% выходцев из недворянских сословий. В 1816 году личные дворяне, то есть вчерашние разночинцы, составляли 44% всего дворянства империи»¹⁴. Однако в этом примере сопоставляются данные по армии с общим числом всех дворян в государстве, что, безусловно, некорректно. Конечно, число коллежских асессоров или сенатских секретарей, таких как герой главы «Зайцево» из «Путешествия из Петербурга в Москву», дослужившихся до личного дворянства, было очень велико, особенно в XIX веке, когда бюрократическая машина быстро росла. Но важнее другое: 1816 год — время окончания десятилетия Наполеоновских войн, которые буквально выкосили целое поколение молодых офицеров. Все, кто занимался биографиями людей на рубеже XVIII и XIX веков, знают, как мало в конце 1810-х, в 1820-е годы людей второй половины 1780-х — начала 1790-х годов рождения. После тех, кто родился в начале 1780-х годов, сразу идут родившиеся в 1795–1799 годах. Естественно, что в этих условиях производство из числа заслуженных унтер-офицеров в обер-офицерские чины было намного выше среднего для рассматриваемой эпохи.

Дворянство оставалось служилым сословием. Но само понятие службы сделалось сложнопротиворечивым. В нем можно различить борьбу государственно-уставных и семейственно-корпоративных тенденций. Последние существенно усложняли структуру реальной жизни дворянского сословия XVIII — начала XIX века и расшатывали неподвижность бюрократического мира. Корпоративные традиции особенно давали себя чувствовать в гвардии.

Гвардия — привилегированные и приближенные к трону полки — возникла при Петре I. Из «потешных» полков молодого царя в конце XVII века были сформированы два гвардейских, получивших наи-

менования по подмосковным селам, в которых они «квартировались»: Преображенский и Семеновский. Преображенский полк в дальнейшем считался первым полком империи. Первый батальон его всегда квартировал на Миллионной, в непосредственной близости от Зимнего дворца. Оба полка получили боевое крещение под Нарвой в 1700 году, обнаружив высокую воинскую стойкость: задержав на три часа наступление шведов, они дали возможность остальной армии отступить. Преображенский, Семеновский и образованный при Анне Иоанновне третий — Измайловский — полк составляли гвардейскую пехоту. Позже были организованы также гвардейские кавалерийские полки: лейб-гвардии конный полк (1730), лейб-гусары и лейб-казаки (1796), кавалергардский (1800), лейб-уланы (1809). Число гвардейских полков и подразделений расширялось. В 1813 г. возникла так называемая «молодая гвардия» (лейб-гренадерский, Павловский и др. полки). Служба в гвардии связана была с пребыванием в столице и выгодно отличалась от армейской: гвардия, как говорилось выше, давала преимущество на два класса по отношению к армии. А поскольку при выходе в отставку, при безупречной службе, человек, как правило, получал следующий чин, то, дослужившись в гвардии до капитана, он мог выйти в отставку в полковничьем чине или перейти в армию подполковником (служба в «молодой гвардии» давала преимущество в один чин).

Гвардия с самого начала своего возникновения играла активную роль в политической жизни, особенно в случаях столь частых в XVIII веке дворцовых переворотов. Елизавета, взойдя на престол, объявила себя полковником всех гвардейских полков, а первую роту преображенцев, сыгравшую свою роль в перевороте, провозгласила «лейб-компанией» (то есть «лейб-ро-

той»), произвела всех ее солдат в дворянство и дала им гербы, в символикe которых было запечатлено их участие в перевороте. Правда, в дальнейшем буйства лейб-кампанцев доставили правительству много забот. Служба в гвардии не была доходна — она требовала больших средств, но зато открывала хорошие карьерные виды, дорогу политическому честолюбию и авантюризму, столь типичному для XVIII века с его головокружительными взлетами и падениями «случайных» людей.

Гвардия аккумулировала в себе те черты дворянского мира, которые сложились ко второй половине XVIII века. Это привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг, быстро превратилось в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом. Очень часто в минуты смуты именно пьяные забулдыги выходили вперед. Так было в 1762 году, на важном рубеже русской истории, когда Екатерина II — тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна — свергла с престола своего мужа, Петра III, и воцарилась на престоле с помощью своего любовника Григория Орлова и «гвардейской буйной шайки».

Однако эти же гвардейцы, которые пьянствовали по кабакам и не знали, как расплатиться с долгами, став графами, князьями и получив огромные имения, сделались довольно заметными людьми в русской истории (так, Алексей Орлов проявил себя как великолепный адмирал и выиграл ряд очень важных сражений). Бывшие гвардейцы, став богатыми и влиятельными, сохранили дух гвардейского своеволия, соединив его со своеволием барским, и порой безоглядно нарушали бюрократические установления во имя корпоративных, семейных и других связей.

Как уже говорилось, Петр I хотел, чтобы чины, предусмотренные в Табели о рангах, давались за

действительную службу и, как он полагал, отличали бы тунеядцев и тех, кто государству не служит, от имеющих реальные заслуги. Так, Петр установил, что прежде, чем получить первый офицерский чин, дворянин должен был длительное время прослужить солдатом. Однако жизнь вскоре начала очень легко обходить подобные установления. Отдельные случаи нарушений, умножаясь, превращались в освященный практикой обычай. Часто это делалось в гвардии.

Вспомним начало «Капитанской дочки». «Матушка, — сообщает герой пушкинской повести Гринев, — была еще мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если б паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти нежившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук». Так оно очень часто и делалось. Правда, для этого надо было иметь в столице заступника — родственника, богатого человека — или же просто дать взятку в полковую канцелярию. Человек, который таких возможностей не имел (например, поэт Г. Р. Державин), должен был прослужить весь положенный срок солдатом прежде, чем получить офицерский чин. Зато человек, имевший «защиту», действовал как родитель Гринева: младенца записывали в службу; он числился в отпуске, а между тем выслуга лет ему шла. И когда четырнадцатилетний подросток приходил в полк, он сразу же получал сержантский чин, а затем — и другие чины, особенно при наличии «заступника». Жизнь сопротивлялась мертвящим бюрократическим принципам прежде всего в форме злоупотреблений (порой чудовищных). Казалось, что петровское государство надежно защитилось от всяких случайностей, от всякой «нерегулярности» системой законов, указов,

приказов. Однако парадоксальным образом обилие правил обернулось хаосом. Законов издавалось исключительно много, и в этой путанице отменявших и уточнявших друг друга государственных установлений можно было лавировать. Более того: существовали законы, которые вообще не были рассчитаны на реальное исполнение. Например, в течение царствования Екатерины II несколько раз издавался закон, запрещающий брать взятки, но поскольку закона, разрешающего брать взятки, никогда не было, то появление каждого нового запрета, по сути дела, лишь подчеркивало его условный характер. Сама Екатерина II прекрасно знала, что закон этот исполняться не будет. Более того: она смотрела на взяточничество сквозь пальцы. Конечно, императрица могла и посмеяться над вельможами-взяточниками: так, Р. Воронцова она назвала Роман — большой карман, а другому подарила вязаный кошелек — для складывания взяток. Однако Екатерина прекрасно знала, что если убрать одного взяточника, то его место займет другой. Как-то она, с присущим ей трезвым цинизмом, сказала Державину, что генерал-губернатор, долго служивший, уже наворовался, а новый только еще начнет воровать.

Злоупотребления росли с необыкновенной быстротой. Они были практически неискоренимы, так как государство, хотя и боролось с ними, но, по существу, само же их и порождало. Сам Петр I рядом с Табелью о рангах породил принцип фаворитизма. Правда, при Петре принцип этот не имел еще такого злокачественного характера: любимцы Петра не были с ним связаны никакими противозаконными связями. Узнавая о незаконных действиях своих фаворитов, Петр мог их жестоко (хотя и «по-домашнему») наказать: даже «светлейший» Меншиков не раз испытывал тяжесть руки императора. Некоторые из них плохо кончили:

близкий к императору П. Шафиров был приговорен за взятки к смертной казни, правда, замененной ссылкой. Но все же это были именно фавориты, и царь позволял им то, что по закону не должно было позволяться. Когда же в России началось «женское правление», фаворитизм стал своеобразным государственным институтом. При Екатерине II некоторые из ее фаворитов, например Григорий Потемкин, были серьезными государственными деятелями, некоторые — просто развратными молодыми людьми. Одни из фаворитов были скромными, то есть довольствовались миллионными подарками и десятками тысяч крестьянских душ, как Дмитриев-Мамонов и Завадовский. Другие претендовали на государственные роли. Таков был Платон Зубов, человек безнравственный. Но воровали все...

Другим ограничивающим бюрократию средством был обычай. Жизнь откладывалась в свои формы, она имела свои законы. Эти законы не уместались в какие-то параграфы и побеждали параграфы. Так, в XVIII веке, хотя Петр I, стремясь все упорядочить, хотел разделить людей по чинам, по классам, исключительно сильна была еще сила родства. Когда встречались два человека, первым делом было — счестся родными. И начинали выяснять: «Ваша бабушка — не сестра ли такого-то? А он ведь наш сосед», или: «Он ведь крестил у моего дедушки детей», или: «Он вместе с моим прадедушкой в полку служил». Все эти негласные связи оказывали на жизнь огромное влияние, и не всегда оно было негативным. Рассматривая культурную жизнь позднейших периодов, например 1840-х годов, мы можем сказать, что политические взгляды, принципы мировоззрения разводят даже друзей. А. Герцен с С. Аксаковым — многолетние друзья — встретились в Москве на улице, вышли из пролетов, обнялись и расстались на всю жизнь: они —

враги. Но декабристов сближали не только идейные связи — почти все они были родственниками, составляли родственные гнезда (Муравьевы, Бестужевы и многие другие). В начале XIX века все еще казалось, что родственникам можно доверять, что люди, выросшие вместе, — соседи, однополчане — связаны надежно. Близость не идейная, а дружеская, человеческая оказывалась в достаточной степени сильной. Иногда это приводило к нарушению законов. Но иногда — создавало ту атмосферу доверия, противоречащую бюрократическим отношениям, которая делала дом (свой, своих родных и друзей) надежной крепостью, недоступной доносчику или шпиону.

ЖЕНСКИЙ МИР

Мы уже говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека XVIII — начала XIX века. Но при этом, хотя мы все время говорили «человек», речь шла о мужчинах. Между тем женщина этой поры не только была включена, подобно мужчине, в поток бурно изменяющейся жизни, но начинала играть в ней все большую и большую роль. И женщина очень менялась.

Характер женщины весьма своеобразно соотносится с культурой эпохи. С одной стороны, женщина с ее напряженной эмоциональностью живо и непосредственно впитывает особенности своего времени, в значительной мере обгоняя его. В этом смысле характер женщины можно назвать одним из самых чутких барометров общественной жизни. С другой стороны, женский характер парадоксально реализует и прямо противоположные свойства. Женщина — жена и мать — в наибольшей степени связана с надысторическими свойствами человека, с тем, что глубже и шире отпечатков эпохи. Поэтому влияние женщи-

ны на облик эпохи в принципе противоречиво, гибко и динамично. Гибкость проявляется в разнообразии связей женского характера с эпохой.

Женское влияние редко рассматривается как самостоятельная историческая проблема. Если, говоря о XVIII — начале XIX века, историк нарисует образ Салтычихи, то, скорее всего, с целью охарактеризовать крепостнические нравы. То, что речь идет о женщине, выступит как случайность исторического процесса. Если же вопрос этот все-таки возникнет, то, как правило, исследователь исчерпает его общими замечаниями о неразвитости (малоразвитости) женщин в тот или иной удаленный от нас период, иногда упомянет о редких исключениях из этого правила.

Нас же будут интересовать как те особенности, которые эпоха накладывала на женский характер, так и те, которые женский характер придавал эпохе.

Разумеется, женский мир сильно отличался от мужского. Прежде всего тем, что он был выключен из сферы государственной службы. Женщины не служили, чинов не имели, хотя государство стремилось распространить чиновничий принцип и на них. В Табели о рангах было специально и подробно оговорено, что женщины имеют права, связанные с чином их отцов (до замужества) и мужей (в браке): «Насопротив того имеют все девицы, которых отцы в 1 ранге, пока они замуж не выданы, ранг получить над всеми женами, которые в 5 ранге обретаются, а именно, ниже Генерал-Майора, а выше Бригадира, и девицы, которых отцы во 2 ранге, над женами, которые в 6 ранге, то есть ниже Бригадира, а выше Полковника; а девицы, которых отцы в 3 ранге, над женами 7 ранга, то есть ниже Полковника, а выше Подполковника, и проч.»¹⁵. Позже эти бюрократические ранги все более разрастались. При Анне и при Елизавете

было установлено, дамы какого класса имеют право носить золотое шитье на платьях, а какого — серебряное, какова должна быть ширина кружев и т. д. Появилось выражение «дама такого-то класса». Позже Вяземский записал в дневнике слова иностранца, который с изумлением говорил, что в Петербурге на Васильевском острове на Седьмой линии он любил даму XII класса.

Итак, чин женщины, если она не была придворной, определялся чином ее мужа или отца*. В документах эпохи мы встречаем слова: «полковница», «статская советница», «тайная советница». Однако слова эти определяют не независимое положение самой женщины, а положение ее мужа (для девушки — отца). В комедии Д. Фонвизина «Бригадир» Бригадирша и Советница — это, соответственно, жены Бригадира и Советника.

В одном рассказе Н. Лескова говорится о привычке некоего иерарха играть со своими подчиненными, заставляя их отвечать ему стихами — «в рифму». Однажды во время прогулки он произнес:

Чертоги зрю монарши.

Спутник его ответил в рифму:

Погиб Фома от секретарши.

Современному читателю естественно понять слово «секретарша» как указание на должность или место службы женщины. Однако такое толкование в конце XVIII — начале XIX века было бы совершенно невозможным. Речь идет о жене секретаря.

* Только в придворной службе женщины сами имели чины. В Табели о рангах находим: «Дамы и девицы при дворе, действительно в чинах обретающиеся, имеют следующие ранги...» (Памятники русского права. Вып. 8, с. 186) — далее следовало их перечисление.

Подобная исключенность женщины из мира службы не лишала ее значительности. Напротив, роль женщины в дворянском быту и культуре в течение рассматриваемых лет становится все заметнее. Женщина не могла выполнять чисто мужских ролей, связанных со службой и государственной деятельностью. Но тем большее значение в общем ходе жизни получало то, что культура полностью передавала в руки женщин.

Впрочем, не следует думать, что в России не было случаев, когда женщина отвоевывала себе право на чисто мужские амплуа. Знаменитая Надежда Дурова, «кавалерист-девица», сначала завоевала себе право на биографию боевого офицера, затем, во второй раз, — «мужское» право на биографию писателя. Третьей ее победой — уже в 1830-х годах — было право ходить в мужской одежде. Пример Дуровой — редкий, но не исключительный. Мы знаем случаи, когда девушки, убегая из дома, переодевались мужчинами, чтобы отправиться к святым местам с толпой бродячих монахов, или же, надевая мужские костюмы, делили со своими женихами или возлюбленными все тяготы военных походов. Однако это не колебало, а скорее подчеркивало разделенность культуры на «мужские» и «женские» области.

Вхождение женщин в мир, ранее считавшийся «мужским», началось не с этих — все же достаточно редких — случаев. Оно началось с литературы. Петровская эпоха вовлекла женщину в мир словесности: от женщины потребовали грамотность.

Не следует, конечно, думать, что женщина допетровской эпохи не была грамотной или что грамотность не могла занимать в ее жизни значительного места. Сохранилась, например, Библия, переписанная рукой царевны Софьи; известны ее письма к князю Василию Голицыну. Конечно, Софья была женщиной

исключительной — и по своему образованию, и по своим политическим претензиям. Но вот в Пушкинском Доме (ИРЛИ) есть письма первой жены Петра I, Евдокии, к офицеру Глебову, ее любовнику. Эти трогательные письма влюбленной женщины как бы вырываются из своей эпохи. Они рассказывают нам о том, что женщина любого времени вносит в окружающий ее мир, и странно было бы полагать, что женщины допетровской Руси лишены были этих чувств или возможности их выражать. Интимная переписка — явление гораздо более раннее, чем культура письма XVIII века¹⁶, и, конечно же, она продолжала существовать и в Петровскую, и в послепетровскую эпоху. Так, возлюбленный (возможно, тайный супруг) императрицы Елизаветы, Алексей Разумовский, перед смертью уничтожил интимные письма к нему Елизаветы.

Однако применительно к женскому миру интересующей нас эпохи можно говорить и о другом. К концу XVIII века речь шла уже не о грамотности и не только о способности выражать в переписке свои интимные чувства. К этому времени частная переписка (семейная, любовная), постепенно разрастаясь, превратилась в неотъемлемую черту дворянского быта. Письма эти не хранили, и огромное число их погибло, но и то, что сохранилось, свидетельствует, что жизнь женщины без письма стала невозможной. Уже у Фонвизина неграмотная женщина — сатирический образ.

Письмо стало определенным жанром с множеством разновидностей. С возникновением переписки как части культурного поведения утверждается деление: печатное слово обращено от государства к грамотной части общества, письменное — от одного частного лица к другому. Но постепенно картина усложняется. С одной стороны, появляется неофициальная литература — книги, обращенные к обществу и тем не ме-

нее не несущие печати государственного авторитета. Литература отделяется от государственности. Первым знаком этого явилась книга В. Тредиаковского «Езда в остров Любви» (1730). С другой стороны, возникает рукописная литература, обращенная к кружку, салону, обществу.

Сложные процессы, имеющие прямое отношение к миру женской культуры, происходят и внутри литературы. Два основных ее типа разделяла в ту пору черта, по одну сторону которой оказывалась высокоавторитетная государственная, научная, военная и т. д. печать, руководимая правительством, по другую — литература художественная, допущенная (если ей не приписывается дидактическая, поучающая функция, полезная тому же государству) как безвредная забава. Ее роль — обслуживать досуг. Но уже очень рано допущенная гостя начинает претендовать на роль хозяйки. Художественная литература, сохраняя и все увеличивая свою независимость от прямых поручений государства, завоевывает место духовного руководителя общества. Поэтому у русского общества второй половины XVIII века — как бы «двойное руководство»: со страниц официальной публицистики продолжает звучать голос государства, а художественная литература делается голосом идей, сначала — независимых, а потом — и прямо оппозиционных.

В доме каждого образованного человека XVIII века хранятся и печатные, и рукописные книги*. Книга стоит дорого, и ее зачастую не покупают, а перепи-

* Средневековая книга была рукописной. Книга XIX века — как правило, печатной (если не говорить о запрещенной литературе, о культуре церковной и не учитывать некоторых других специальных случаев). XVIII век занимает особое положение: рукописные и печатные книги существуют одновременно, иногда — как союзники, порой — как соперники.

сывают. Остаются в рукописях и многие переводы из иностранных авторов. Карта культуры делается все более разнообразной: в нее входят и государственные акты, и исторические сочинения, и любовные романы, и письма, и официальные бумаги. Круг печатных и рукописных материалов настолько обширен, что одни части библиотеки хранятся теперь в кабинете хозяина, а другие — у его жены, даже если «она любила Ричардсона, // Не потому, чтобы прочла...».

Так к концу XVIII века появляется совершенно новое понятие — женская библиотека. Оставаясь по-прежнему (как уже говорилось, за редкими исключениями) миром чувств, миром детской и хозяйства, «женский мир» становился все более духовным.

Женщина стала читательницей. Но книги были разные, и читательницы — тоже. Мы знаем в конце XVIII — начале XIX века замечательных русских женщин, которые, как Татьяна Ларина или Полина из пушкинской повести «Рославлев», были приобщены к высшим проявлениям европейской и русской литературы. Но документы сохранили для нас упоминания и многочисленных уже в пушкинскую эпоху девушек и женщин, не отличавшихся особыми талантами. Это не были писательницы, как Е. Ростопчина, или участницы исторических событий, как Н. Дурова. Это были матери. И хотя имена их остались неизвестными, их роль в истории русской культуры, в духовной жизни последующих поколений огромна. Домашние библиотеки женщин конца XVIII — начала XIX века сформировали облик людей 1812 года и декабристской эпохи, домашнее чтение матерей и детей 1820-х годов — взрастило деятелей русской культуры середины и второй половины XIX века.

Но не только привычка к чтению меняла облик женщины. Женский быт изменялся стремительно, и моды, костюмы, поведение бабушек внукам

представлялись карикатурными и вызывали смех. Казалось бы, женский мир, связанный с вечными свойствами человека: любовью, семейной жизнью, воспитанием детей, — должен был быть более стабильным, чем суетный мир мужчин. Но в XVIII веке получилось иначе: реформы Петра I перевернули не только государственную жизнь, но и домашний уклад.

Первое последствие реформ для женщин — это стремление *внешне* изменить облик, приблизиться к типу западноевропейской светской женщины. Меняется одежда, прически — например, появляется обязательный парик. Кстати, парики, для того чтобы они хорошо сидели, надевались на остриженную голову. Поэтому когда вы видите на портретах XVIII века красивые женские прически, — это прически из чужих волос. Парики пудрили. В «Пиковой даме», как вы помните, старуха-графиня, хотя действие повести происходит в 30-е годы XIX века, одевается по модам 70-х годов XVIII столетия. У Пушкина есть фраза: «...сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы». Действительно, так оно и было.

Платья, разумеется, тоже стали другими. Изменился и весь способ поведения. В годы петровских реформ и последующие женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек (и на крестьянок).

В модах царила искусственность. Женщины тратили много сил на изменение внешности. Моды были разные. Купчихи, например, красили зубы в черный цвет, и в купеческом мире это считалось идеалом красоты*.

* См. в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, в главе «Новгород», портрет жены купца: «Прасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи».

В более европеизированном обществе зубы, конечно, не чернили. Но и здесь имелись способы изменять свою внешность. Например, на лицо наклеивали мушки, которые делались из тафты или из бархата. Место, куда прилеплялись мушки, не было случайным. Например, мушка в углу глаза означала: «Я вами интересуюсь», мушка на верхней губе: «Я хочу целоваться». А поскольку в руках у женщины был веер, движения которого также получали особый смысл (например, резкое закрывание веера означало: «Вы мне не интересны!»), то комбинации мушек и игры веера создавали своеобразный «язык кокетства».

Дамы кокетничали, дамы вели в основном вечерний образ жизни. А вечером, при свечах, требовался яркий макияж, потому что при свечах лица бледнеют (тем более — в Петербурге с его злобредным климатом!). Из-за этого у дам уходило очень много (за год, наверное, с полпуда!) румян, белил и разной другой косметики. Красились очень густо.

В петровский период женщина еще не привыкла много читать, еще не стремилась к разнообразию духовной жизни (конечно, это лишь в массе: в России уже были писательницы). Духовные потребности большинства женщин удовлетворялись еще так же, как в допетровской Руси: церковь, церковный календарь, посты, молитвы. Разумеется, до конца XVIII столетия, до «эпохи вольтерьянства», в России все были верующими. Это было нормой, и это создавало нравственную традицию в семье.

Однако и семья в начале XVIII века очень быстро подверглась такой же поверхностной европеизации, как и одежда. Женщина стала считать нужным, модным иметь любовника, без этого она как бы «отставала» от времени. Кокетство, балы, танцы, пение — вот женские занятия. Семья, хозяйство, воспитание

детей отходили на задний план. Очень быстро в верхах общества устанавливается обычай не кормить детей грудью. Это делают кормилицы. В результате ребенок вырастал почти без матери. (Конечно, это не в провинции и, конечно, не у какой-нибудь бедной помещицы, у которой двенадцать человек детей и тридцать душ крепостных, а у дворянской, чаще всего — петербургской, знати.)

И вдруг произошли быстрые и очень важные перемены. Примерно к 70-м годам XVIII века над Европой проносится дыхание нового времени. Зарождается романтизм, и, особенно после сочинений Ж.-Ж. Руссо, становится принятым стремиться к природе, к «естественности» нравов и поведения.

Веяния эти проникли и в Россию. В сознание людей последней четверти XVIII века начинает постепенно проникать мысль о том, что добро заложено в природе, что человеческое существо, созданное по образу и подобию Бога, рождено для счастья, для свободы, для красоты. «Неестественные» моды начинают вызывать отрицательное отношение, а идеалом становится «естественность», образцы которой искали в женских фигурах античности или в «театрализованном» крестьянском быту. Одежды теперь просты: нет уже ни роскошных юбок с фижмами, ни корсетов, ни тяжелой парчи. Женская одежда делается из легкой ткани. Рубашка с очень высокой талией представляется защитникам культа Природы «естественной». Простоту одежды пропагандирует эпоха Французской революции. Павел I тщетно пытался остановить моду: на последний ужин перед тем, как его убили, императрица Мария Федоровна пришла к нему в запрещенном европейском платье: простая рубашка, высокая талия, открытая грудь, открытые плечи — дитя природы. Вечерний туалет императрицы стал первым публичным свидетельством конца

павловской эпохи. Первый жест бунта, как это часто бывало в России XVIII века, был сделан женщиной.

На портретах этой поры мы видим, как новая манера одеваться соединилась с естественностью, простотой движений, живым выражением лица. Так, на портрете М. И. Лопухиной В. Боровиковского отнюдь не случайно фоном вместо привычных тогда бюста императрицы или же пышного архитектурного сооружения стали колосья ржи и васильки. Девушка и природа соотносены в своей естественности.

Появились платья, которые позже стали называть онегинскими, хотя они вошли в моду задолго до опубликования «Евгения Онегина», уже на грани двух веков. Вместе с изменением стиля одежды меняются и прически: женщины (как и мужчины) отказываются от париков — здесь тоже побеждает «естественность». Мода эта перешагивает через границы, и, хотя между революционным Парижем и остальной Европой идет война, попытки остановить моду у политических границ оказываются тщетными. Женщины одержали здесь блестящую победу над политикой.

Перемена вкусов коснулась и косметики (как и всего вообще, что меняло женскую внешность). Просветительский идеал простоты резко сокращает употребление красок. Бледность (если не естественная, то создаваемая с большим искусством!) стала обязательным элементом женской привлекательности.

Красавица XVIII века пышет здоровьем и ценится дородностью. Людям той поры кажется, что женщина полная — это женщина красивая. Именно крупная, полная женщина считается идеалом красоты — и портретисты, нередко греша против истины, приближают портретируемых к идеалу. Известны случаи, когда художник для торжественного портрета (а это мы можем установить, сравнивая его с рисованными

профилями или другими портретами) награждает за-казчицу полнотой, вовсе ей не свойственной. Отдавая предпочтение пышным формам, соответственно относятся и к аппетиту. Женщина той поры ест много и не стесняется этого.

С приближением эпохи романтизма мода на здоровье кончается. Теперь кажется красивой и начинает нравиться бледность — знак глубины сердечных чувств. Здоровье же представляется чем-то вульгарным. Жуковский скажет:

Мила для взора живость цвета,
Знак юных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.

«Алина и Альсим»

Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной, ей идет грусть. Мужчинам нравилось, чтобы в печальных, мечтательных голубых женских глазах блестели слезы и чтобы женщина, читая стихи, уносилась душой куда-то вдаль — в мир более идеальный, чем тот, который ее окружает.

Впрочем, романтический идеал женщины-ангела имел и своего двойника:

Ангел дьяволом причесан
И чертовкою одет¹⁷.

Романтическое соединение «ангельского» и «дьявольского» также входит в норму женского поведения.

Литература и искусство конца XVIII — начала XIX века создают идеализированный образ женщины, который, разумеется, расходился с тем, что давала жизненная реальность. Но, с одной стороны, это резко повышало роль женщины в культуре. Идеалом эпохи становится образ поэтической девушки. С другой стороны, образ этот облагораживающе действу-

ет на реальных девушек. Не потому ли имена, пусть немногих из них, незабвенны в истории России. Героические поступки женщин эпохи декабризма — во многом плод проникновения поэзии Жуковского, Рыльева и Пушкина в женскую библиотеку на рубеже XVIII–XIX веков и в первые десятилетия XIX столетия.

Изменение общего стиля культуры отразилось на самых разнообразных сторонах быта.

Стремление к «естественности» прежде всего оказало влияние на семью. Во всей Европе кормить детей грудью стало признаком нравственности, чертой хорошей матери. С этого же времени начали ценить ребенка, ценить детство.

Раньше в ребенке видели только маленького взрослого. Это очень заметно, например, по детской одежде. В начале XVIII века детской моды еще нет. Детей одевают в маленькие мундиры, шьют им маленькие, но по фасону — взрослые одежды. Считается, что у детей должен быть мир взрослых интересов, а само состояние детства — это то, что надо пробежать как можно скорее. Тот, кто задерживается в этом состоянии — тот митрофан, недоросль, тот недоразвит и глуп.

Но Руссо сказал однажды, что мир погиб бы, если бы каждый человек раз в жизни не был ребенком... И постепенно в культуру входит представление о том, что ребенок — это и есть нормальный человек. Появляется детская одежда, детская комната, возникает представление о том, что играть — это хорошо. Не только ребенка, но и взрослого надо учить, играя. Учение с помощью розги противоречит природе.

Так в домашний быт вносятся отношения гуманности, уважения к ребенку. И это — заслуга в основном женщины. Мужчина служит. В молодости он — офицер и дома бывает редко. Потом он в отставке, по-

мещик — в доме наездами, все время занят хозяйством или на охоте. Детский же мир создает женщина. А для того чтобы создать его, женщине необходимо много пережить, передумать. Ей надо стать читательницей.

Итак, в 70–90-е годы XVIII века женщина становится читательницей. В значительной мере складывается это под влиянием двух людей: Николая Ивановича Новикова и Николая Михайловича Карамзина.

Новиков, посвятивший свою жизнь пропаганде Просвещения в России, создал новую эпоху и в истории русской женской культуры. Разумеется, женщины читали книги и до Новикова, но он первым поставил перед собой цель сделать женщину — мать и хозяйку — читательницей, подготовить для нее продуманную систему полезных книг в доступной для нее форме. Напомним, что еще Сумароков мечтал об идеальном царстве, где «учатся в школах и девки» (писатель оговаривал — «дворянские»). Педагогические мечты Сумарокова Новиков реализовал с неслыханной энергией и необыкновенным умением. Им была создана подлинная библиотека для женского чтения.

Карамзин начал свою просветительскую деятельность в школе Новикова и под его руководством. Вместе со своим другом А. П. Петровым он редактировал новиковский журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785–1789). Читателями журнала — впервые в России — были дети и женщины-матери.

Однако Карамзин вскоре разошелся с Новиковым. Новиков, видя в литературе в основном прикладную педагогику, считал, что России нужна нравоучительная, полезная книга — дидактика, только притворяющаяся искусством. Карамзин же, поэт и один из самых блистательных деятелей русской литературы

XVIII века, не мог и не хотел отводить искусству чисто служебную роль. Красота, по его мнению, сама по себе имеет нравственное значение. Искусство нравственно и без надоедливых моральных правоучений. Оно педагогично именно тогда, когда не заботится о педагогичности.

Карамзин теоретически обосновывает и практически создает литературу, нравственный и педагогический эффект которой не был основан на прямолинейной назидательности. Более того: некоторые произведения Карамзина, смело трактовавшие вопросы любви и этики, измельчавшим продолжателям Новикова казались даже безнравственными. Нам сейчас почти невозможно представить себе, какое возмущение вызывали карамзинские повести, где писатель касался таких «запрещенных» сюжетов, как любовь брата к сестре («Остров Борнгольм», 1794; баллада «Раиса», 1791) или любовное самоубийство («Сиерра-Морена», 1795). Однако именно эти сочинения, влияние которых на читателей литературным староверам казалось безнравственным, были, как показала история, не только глубоко нравственными, но и моралистическими. Не случайно для поколения романтиков Карамзин стал уже казаться наивным и навязчивым.

Отношение литературы и морали — один из самых острых вопросов, возникавших на заре романтизма. Особенно болезненно звучал он, когда обсуждались проблемы: «искусство и семья», «искусство и женщина», «искусство и дети». Приведу один пример.

В семье писателя М. Хераскова воспитывалась юная Анна Евдокимовна Карамышева (о ее судьбе будет подробно говориться далее, в главе «Две женщины»). Романы казались столь опасными для нравственности, что когда в доме Хераскова говорили о них (а романы тогда были такие невинные, такие

скучные, такие нравственные!)^{*}, то Карамышеву, уже замужнюю женщину, просто выставляли из комнаты! Это — 70-е годы XVIII века. Так было в семье, ориентированной на патриархальный уклад. Но мать Карамзина уже в это время читала и давала читать сыну те модные романы, которые через десять лет наводнили большинство дамских библиотек^{**}. Романы эти тоже наивны, но впоследствии Карамзин скажет, что человек, который плачет над судьбой героя, не будет равнодушен к несчастьям другого человека. В наивных, смешных уже в эпоху Пушкина книгах сквозила гуманная мысль, и они действовали, может быть, лучше, чем нравственные уроки, излагаемые в форме прямых наставлений.

Пройдет еще немного времени, и Татьяна Ларина — девушка 1820-х годов — появится перед чита-

^{*} Пушкин в «Графе Нулине» об этих романах писал:

Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.

Героиня поэмы — Наталия Павловна читала такие романы еще в начале XIX века: в провинции они задержались, но в столицах их вытеснил романтизм, переменивший читательские вкусы. Ср. в «Евгении Онегине»:

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен — и в романе,
И там уж торжествует он.

(З, XII)

^{**} Повесть Н. М. Карамзина «Рыцарь нашего времени», на которой мы в данном случае основываемся, — художественное произведение, а не документ. Однако можно полагать, что именно в этих вопросах Карамзин близок к биографической реальности.

телем «с французской книжкою в руках, с печальной думою в очах». Пушкинская героиня живет в мире литературы:

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит...

(З, X)

Барышня 1820-х годов, провинциальная барышня, живущая где-то около Пскова, перечувствует, передумает то, что чувствуют и думают герои лучших литературных произведений. Недаром Пушкин скажет о Татьяне:

... себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть...

(З, X)

Создается другой тип человека, другой тип женщины. Это очень хорошо показал Ф. С. Рокотов на одном из первых романтических портретов — портрете А. П. Струйской. Вспомним стихи Николая Заболоцкого, который по поводу этого портрета писал:

Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Ее глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.

«Портрет»

А еще через несколько лет мы увидим, что молодая женщина, девушка окажутся порой способными на то, на что мужчины, связанные с государственной жизнью и службой, смелые мужчины, которые погибают на редутах, неспособны.

Когда на Сенатской площади картечь разгромила каре декабристов, случилось, пожалуй, самое страшное. Не аресты и не ссылки оказались страшны. Моральное разрушение человека происходило в петербургских дворцах, где вчерашние друзья декабристов спешили засвидетельствовать лояльность власти нового императора, пока в снегах Сибири несли свой крест их недавние приятели и близкие родственники. (У редкого из тех, кто принимал участие в петербургских парадах или балах в Зимнем дворце, не было брата, родственника, друга-однополчанина в сибирских казематах!) Сосланные жили в Сибири в ужасных условиях, но им не надо было бояться: самое страшное *уже свершилось*. А те, в Петербурге, которые вчера еще вели с сегодняшними ссыльными свободолюбивые разговоры и которые теперь знали, что только случайность их защищает, что в минуту все может измениться и тот, кто сидит в своем петербургском кабинете, может оказаться в кандалах на каторге, — вот те испугались. Десять лет испуга — и общество деградирует: мужчины начнут бояться, появится совершенно другой человек — «зажатый» человек николаевской эпохи. Позже М. Е. Салтыков-Щедрин расскажет о том, как его герою снится, что он спит и что у него на голове выстроена пирамида

из людей в мундирах. Эта пирамида раздавила ему голову, голова его стала плоской...

А женщина не боится. Она пишет письмо Бенкендорфу, как сделала это княгиня Волконская. Пишет по-французски: она — светская дама, и он — светский человек (сам Бенкендорф брезговал носить жандармский мундир); он, конечно, никогда не позволит себе «поставить на место» светскую даму*.

Женщины оказываются более стойкими, чем мужчины. Они сильнее душой, они не боятся, они едут в Сибирь на ужасных условиях. В Петербурге их предупреждают, что все дети ссыльных, рожденные в Сибири, будут записаны недворянами — в крестьянское сословие. Их страшат тем, что они беззащитны перед уголовными каторжниками, и позже декабристки будут вспоминать, что чиновники гораздо хуже каторжников-преступников: среди этих есть люди — среди чиновников почти нет.

Поведение женщин последекабристской эпохи — факт не только «женской культуры». Девушка и женщина 1820-х годов в значительной мере создавала

* Французское письмо государю или высшим сановникам, написанное мужчиной, было бы воспринято как дерзость: поданный обязан был писать по-русски и точно следуя установленной форме. Дама была избавлена от этого ритуала. Французский язык создавал между нею и государем отношения, подобные ритуальным связям рыцаря и дамы. Французский король Людовик XIV, поведение которого все еще было идеалом для всех королей Европы, демонстративно по-рыцарски обращался с женщинами любого возраста и социального положения.

Интересно отметить, что юридически степень социальной защищенности, которой располагала русская женщина-дворянка в николаевскую эпоху, может быть сопоставлена с защищенностью посетившего Россию иностранца. Совпадение это не столь уж случайно: в чиновно-бюрократическом мире ранга и мундира всякий, кто так или иначе выходит за его пределы, — «иностранец».

общую нравственную атмосферу русского общества. Когда мы говорим о том, откуда берутся люди декабристского круга, которых Герцен называл «поколение богатырей, выкованных из чистой стали», — тут можно указать много причин. Это и исторические события, и войны, и книги, но это еще и гуманистическая атмосфера, которая так неожиданно ворвалась в семейную жизнь. Конечно, не следует думать, что таких женщин было очень много. Были и «дикие помещицы», и их даже было больше. Были и милые, тихие женщины, совсем неплохие, весь смысл жизни которых — в солении огурцов и в заготовлении продуктов на зиму, — старосветские помещицы, уютные, добрые. Но то, что в обществе уже были люди, живущие духом, — и в значительной мере женщины, — создавало совершенно иной быт.

Более того: как женское письмо, написанное государю или чиновнику по-французски, переключало текст во внесловное пространство, так и все поведение женщины той поры в его высших проявлениях как бы вырывалось из социальной сферы своего времени, становилось выражением общечеловеческих начал.

Это смело использовал Пушкин в незаконченном романе «Рославлев» (1831), где мы находим исключительно интересный диалог идей — полемику с романом М. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831).

М. Загоскин, чей талант прозаика Пушкин ценил довольно высоко, был близок по своим воззрениям В. Н. Надеждину (известному критику, «наставнику» Белинского). Их позицию отличало соединение незрелого, ищущего свои пути демократизма с отрицательным отношением к революционным и либеральным идеям. Поэтому и патриотизм Загоскина, с одной стороны, был приемлем для складывающе-

гося в России демократического лагеря, с другой — легко окрашивался в официозные или проправительственные тона. Это определило, например, позицию Загоскина в истории преследований П. Я. Чаадаева: Загоскин примкнул к тем, кто обвинил автора «Философических писем» в отсутствии патриотизма. Его обвинения фактически распространялись на целый круг наследников либерализма и декабризма, переживших эпоху ссылок и казней, — таких как М. Орлов, братья Тургеневы и сам Пушкин.

Отвечая Загоскину, Пушкин осудил его за то, что романист как бы монополизировал право быть глашатаем патриотизма. Весьма примечательно, что для воплощения своего понимания патриотизма Пушкин избирает героиню-женщину. Именно Полина, героиня «Рославлева», высокодуховная женщина, поднявшаяся над сегодняшним днем политических распрей, могла стать выразительницей пушкинской точки зрения, соединившей высокий патриотизм и общечеловеческую мораль.

Пушкин сам, в несколько шуточной форме, сблизил свои взгляды с женской точкой зрения — наивной, но на самом деле глубокой. В незавершенном «Романе в письмах» (1829) Лиза (а ее словами — без лукавства — сам Пушкин) говорит: «Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень. Они их истинная публика».

Можно заметить, что в последующую эпоху, когда женщина завоевала себе право широкого участия в политической жизни, она сравнялась с мужчиной в возможности «оспоривать налоги // Или мешать царям друг с другом воевать» (Пушкин, III (1), 420), но ограничила в себе то вечное, что сохраняется в человеке во все времена. В эпоху же романтизма и декабризма русская женщина, поднявшись до интеллектуального уровня образованного мужчины своего

времени, сделала еще шаг — до общечеловеческой точки зрения.

Но это героическое поколение жен декабристов еще впереди. А сейчас, на рубеже веков, живут их матери, «мечтательницы нежные», но без этих матерей не было бы этих дочерей.

Особую роль мир женщины сыграл в судьбах русского романтизма. Романтическая эпоха отвела женщине важнейшее место в культуре. Эпоха Просвещения поставила вопрос о защите женских прав. Женщина, ребенок, человек из народа — таковы были типичные герои, за равенство и права которых боролся просветитель. «Подопечных» надо было воспитать, защитить и обучить, а воспитателем и защитником был мужчина, — конечно, такой, который уже воспринял идеи «века просвещения». Пушкин любил повторять слова французского историка и философа Гальяни о женщине: «Животное, по природе своей слабое и болезненное».

Эпоха, начатая в России Карамзиным, отвела женщине совершенно новую роль. Поэзия Жуковского утвердила представление о женщине как о поэтическом идеале, предмете поклонения. Вместе с романтическим вкусом к рыцарской эпохе возникает поэтизация женщины.

Просветитель утверждал равенство женщины и мужчины. Он видел в женщине *человека* и стремился уравнивать ее в правах с отцом и мужем. Романтизм возрождал идею неравенства полов, которое строилось по моделям рыцарской средневековой литературы. Женщине, возвышенной до идеала, отводилась область высоких и тонких чувств. Мужчина же должен был быть ее защитником-служителем. Конечно, романтический идеал с трудом прививался к русской реальности. Как правило, он охватывал мир дворянской девушки — читательницы романов, погружен-

ной душой в условные литературные переживания и черпающей в них «чужой восторг, чужую грусть». Так, например, Софи Салтыкова, в будущем — жена Дельвига, в молодости пережила бурное увлечение декабристом П. Г. Каховским. Каховский — бедный, лишенный связей офицер, — конечно, не мог считаться женихом светской барышни. Но молодые люди и не говорят о браке. Их связывает идеальная любовь. Все объяснение в любви проходит как обмен поэтическими цитатами.

Нельзя не вспомнить здесь трагическую и вместе с тем очень характерную судьбу двух сестер Протасовых, Маши и Саши. Одна из них впоследствии выйдет замуж за дерптского профессора И. Мойера, известного хирурга, учителя Н. И. Пирогова. Мойер был замечательный человек: Пирогов оставил о нем очень теплые воспоминания. Другая сестра выйдет замуж за профессора и литератора А. Ф. Воейкова — увы, жестокого и безнравственного человека.

Маша, почти ребенком, влюбится в своего родственника, поэта Жуковского. Жуковский принадлежал, со стороны отца, к старинной дворянской семье. Его отец — помещик Бунин (видимо, предок писателя И. Бунина, чем Бунин очень гордился), а мать — пленная турчанка, Сальха, жившая в доме на положении как бы крепостной. Будущий поэт — незаконнорожденный. В общем — именно то, что считалось «сомнительным происхождением». Ребенок не мог получить отцовской фамилии, и отец поэта предложил бедному дворянину Жуковскому, который был приживалом в доме Бунина, стать крестным отцом ребенка и дать ему свою фамилию.

Воспитание Жуковский получил очень хорошее, как равноправный член семьи. Его первоначальным воспитанием и устройством его судьбы занимались старшие замужние сестры — Е. А. Протасова,

А. А. Елагина. Более того: в этом бунинском, протасовском, елагинском доме — большом культурном гнезде, где тон задавали молодые — тетушки, кузины, — Жуковский был единственным мальчиком, всеобщим любимцем. О нем нежно заботились, выхлопотали дворянство, дали образование в лучшем тогда учебном заведении — Московском благородном пансионе.

В 1805 году, уже известным поэтом, Жуковский становится домашним учителем своих племянниц — дочерей сводной сестры, Е. А. Протасовой. И тут разыгрывается драма. Читая об истории любви Маши Протасовой и Жуковского, невозможно не ощутить, как тесно в ней переплетаются литература и жизнь, поэзия действительности и поэзия поэзии. Подлинные страдания становятся литературными сюжетами, а литературные герои объясняют участникам драмы смысл их живых чувств и страданий.

Жизнь как бы разыгрывает перед влюбленными сюжет, который уже проник к этому времени в литературу и после романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» был пережит всеми «нежными» читательницами Европы. Учитель-разночинец влюбляется в свою ученицу-дворянку, она — в него. Но брак их невозможен, потому что общество имеет свои права, свои предрассудки*.

И вот между Машей и Жуковским вырастает стена еще более крепкая, чем сословные предрассудки. Мать Маши, женщина глубоко религиозная, считает невозможным брак между столь близкими родствен-

* Правда, в отличие от Сен-Пре из «Новой Элоизы», Жуковский — дворянин. Однако дворянство его сомнительно: все окружающие знают, что он незаконный сын с фиктивно добытым дворянством (см.: *Портнова Н. И. Фомин Н. К.* Дело о дворянстве Жуковского. — В кн.: Жуковский и русская культура. Л., 1987, с. 346–350).

никами. Гостеприимный дом Протасовых становится вдруг чужим. Сестра берет с Жуковского тайное слово, что он откажется от своих прав на Машу. Ему дают понять, что он будет терпим в доме лишь до тех пор, пока скрывает свою любовь. Трагическое чувство мучительно пройдет через жизнь поэта. Оно составит содержание стихов Жуковского, стихов Маши, их страстной переписки.

Жизнь Жуковского как бы параллельно развивается в литературе и в действительности. Герой средневекового романа «Тристан и Изольда» Тристан уступает свою возлюбленную королю. Долгая, полная разлук и страданий жизнь Тристана и Изольды увенчивается их посмертным соединением. Образ этот становится для Жуковского литературным воплощением его реальных, жизненных страданий. Но в то же время реальные жизненные страдания поэта отражаются в его творчестве в условных «рыцарских» сюжетах. Так искусство переливается в жизнь, а жизнь — в искусство.

Но романтическая женщина не остается пассивной участницей этой «игры» литературы и жизни. Проза жизни не может отучить Машу от привычки смотреть на все происходящее глазами поэзии. Пройдет полвека — и читателю-разночинцу, поклоннику Д. Писарева, такой взгляд станет казаться «непрактичным». Но именно эта «непрактичность» — нераздельность житейского и поэтического — и создавала высокую духовность романтической девушки начала XIX века и позволила ей сыграть облагораживающую роль в русской культуре.

«Роман-жизнь» продолжит судьба Саши Протасовой. Эта младшая сестра — прелестная резвушка, которую в доме называют по имени героини баллады Жуковского — Светлана, выходит замуж за друга Жуковского, дерптского профессора А. Ф. Воейкова.

Семья переезжает в Дерпт (ныне Тарту). Там Маша, уступая давлению матери, выходит замуж за университетского профессора И. Ф. Мойера. Жуковский, подавляя собственные чувства, благословляет ее на брак и (как некогда Тристан!) сам передает возлюбленную в руки друга.

Мойер — благородный человек. Он щадит чувство Маши, он глубоко почитает ее. Сам он не только прекрасный хирург, но и музыкант. Это не своекорыстный и сухой Воейков. Но ситуация создается крайне мучительная. Все трое благородны. Все трое страдают. Жуковский приезжает в Дерпт. Отношения его с Машей — всегда платонические, но чувство остается сильным и трагичным.

А затем Маша умирает после вторых родов. Она похоронена в Дерпте, где могила ее до сих пор сохраняется. Смерти М. А. Мойер Жуковский посвятил одно из своих лучших стихотворений «19 марта 1823 года»:

Ты предо мною
Стояла тихо.
Твой взор унылый
Был полон чувства.
Он мне напомнил
О милом прошлом...
Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна!
В ней все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.

Звезды небес,
Тихая ночь!..